
Алексей ЛЕСНЯНСКИЙ

НЕЦЕЛОВАННЫЕ

Роман

Все имена и события вымышлены, совпадения с реальностью прошу считать случайностью.

О, Русская земля! Ты уже за холмом.

Слово о полку Игореве

1

Эта история могла случиться только в России — в стране невиданных глобальных экспериментов. В поисках идеальной для себя модели наша страна многое перепробовала на собственной шкуре. Из века в век юродивый русский народ то и дело заражался различными социально-экономическими, политическими и нравственными болезнями, доходил в горячке до последних столпов, чтобы сколь надо отвалиться в беспамятстве, выработать иммунитет и стать площадкой для очередного эксперимента.

Мы тысячу лет накапливали подопытность. В начале прошлого столетия даже превзошли самих себя, дерзнули послать самого Бога к черту, проскочив в октябре 1917-го на красный. В итоге на десятки лет стали сиротами при живом Отце. Мазохистские пытки, учиненные Россией над собой в двадцатом веке и должны стать контрольными, ужасали ее врагов, и никто не решался сунуться в государство, которое эпохами искало и не находило себя. Лишь германский волк посмел лязгнуть зубами в русской берлоге и был задран.

Спешу с книгой. Хочется первым вбросить в мир сагу о козырных вальтах, ведь совсем скоро об этой истории заговорят на всех площадях — сложно скрыть эксперимент, участниками которого стали десять тысяч человек. Информация вот-вот начнет просачиваться, если уже не начала. Парящие в небе грифы совершенной секретности скоро попадут (если уже не попали) в прицел охотников до сенсаций и будут

Алексей Васильевич Леснянский родился в 1982 году в с. Белый Яр Красноярского края. Окончил Хакасский институт бизнеса. Публиковался в московских издательствах «Дрофа» и «Север», толстых литературных журналах «Урал», «Сибирские огни», «Абакан литературный», «Менестрель», сетевых изданиях «Молоко», «Территория выбора», «Великоросс» и газетах Хакасии. Лауреат Независимой литературной премии «Дебют» за повесть «Отара уходит на ветер» (2013). Лауреат Международной литературной премии им. И. Ф. Анненского за роман «Гамлеты в портянках» (2014). Лауреат премии толстого литературного журнала «Урал» в номинации «Проза» за повесть «Отара уходит на ветер» (2014). Лауреат премии толстого литературного журнала «Сибирские огни» в номинации «Проза» за роман «Дежурные по стране» (2015). Лауреат премии партии «Справедливая Россия» в номинации «Молодая проза России» (2015). Живет в г. Абакане.

сняты из двустолок. Грубо сняты, а не хотелось бы. Дело в том, что легенда не просто героическая, а наив. В ней так много донкихотства, чуждого нашему веку-промокашке, что порой я не знал, как реагировать на дневниковые записи, случайно попавшие мне в руки.

К тридцати годам я стал закоренелым циником и не был готов к бисеру, который стали метать передо мной персонажи саги с первых страниц дневника. И первым долгом я, конечно, начал глумиться над святынями, слишком уж много в них было наива и стерильности. Но в какой-то момент я затих и обернулся. На хвосте сидела моя юность. Она стремительно приближалась. Я дал деру.

— Алеша! — кричит юность. — Постой!

— Сама ты, — отвечаю, — Алеша! Назад дуй! Увидишь мелкого на горшке — это и есть искомое!

— А помнишь, Лешка, как ты мир хотел спасти? — продолжает кричать и преследование.

— Че — в натуре? — ерничаю. — Высший класс!

— Одиннадцатый «В»! — не теряется.

— Отвянь! — бросаю через плечо. — Я свою вселенку основал! Обставил ее с комфортом: подконтрольное правительство, продажные суды, большинство в Думе! Даже оппозицию для форса имею!

— Куришь, Алексей? — спрашивает.

— Не ниже «Парламента»! — хвастаю.

— Ниче так устроился! — хвалит. — Да ведь только догоню теперь!

— Зубы выстегну! — угрожаю.

— Тебе ж вставлять!

— Так и так в армейке вставлять! — отмахиваюсь.

— Неужто ничего святого в тебе не осталось? — интересуется.

— Только ты, — отвечаю. — И та в прошлом!

— Без меня книгу не потянешь! — вонзает юность крюк в мои кишки. — Там о таких, как я!

Останавливаюсь, разворачиваюсь, иду шантажистке навстречу.

— Дура ты, — говорю. — В хохму роман обращаю, на одном стиле выеду — не впервой! А ну как молодежь прочтет необработанный дневник и начнет жить по писанному в нашем далеко не травоядном мире. Смерти ребят хочешь?

— Так уж прям и смерти.

— А че, это жизнь, по-твоему?! — вскипаю.

— Твои условия? — поддается юность.

— Оставь мне сарказм, детка.

— Юмор — вот все, на что ты можешь рассчитывать. Юмор с вкраплениями сатиры. Гомеопатическими.

— Ну ты и... Ладно, по рукам!

2

Толчком к событиям, о которых пойдет речь в книге, послужил ледоход в начале 90-х, когда нерушимый, по словам гимна, СССР пошел-таки трещинами. Шматы и ошметки советской империи, сшибаясь и крошась, поплыли по течению Леты.

На огромной льдине по имени Россия воцарилось лихо. Настала година сверхзвукового обогащения, набата шахтерских касок, мужественных отморозков, ушных магов, тарзаньей культуры, мозговых утечек, слабых силовиков, аляпистых

пиджаков, наркобаронов, некрокрестьян, понтов, понятий, кастетов, сектантов, стрелок и другой всячины.

Усиливались сепаратистские настроения в национальных республиках. Заплатки на карте России возомнили себя самостоятельными княжествами и, подобно гоголевскому Хоме Бруту, стремились очертить себя мелками и выйти из состава федерации. Увидев это, на заходе солнца заоблизывались и уже мысленно разрезали и солили русский каравай, который был столь огромен, что запивать бы его пришлось океаном не меньше Атлантического.

Не все стали спокойно смотреть, как страна падает в пропасть. В недрах общества рождалось стихийное сопротивление. Среди Мининых и Пожарских 90-х можно было встретить политиков, чиновников, военных, священников, ученых, врачей, техничек, бухгалтеров, преподавателей, пожарных, маркшейдеров — словом, кого угодно. В стане сопротивленцев засветились даже воры в законе, один из которых на августовской сходке 1992 года заявил, что — да, он вор и, безусловно, намерен красть и дальше, но для этого надо, чтобы было «что» и «у кого» красть. Спич законника, поговаривают, произвел впечатление, и расчувствовавшаяся братва даже согласилась обнищать на консолидированный бюджет нескольких европейских государств ради повышения уровня жизни россиян.

К несчастью, сопротивление не было единым. Все по-разному видели прошлое, настоящее и будущее страны. В такой ситуации сплотить здоровые силы мог разве что общий и зримый неприятель в виде каких-нибудь поляков в Москве или японцев на Курилах. Однако внешние враги не шли на открытое противостояние. Они вели тайную подрывную работу. В этом им помогали тысячи и тысячи россиян, из которых одни действовали по прямой указке из-за рубежа, другие (этих было в сотни раз больше) — вольной волею. В общем, силам сопротивления можно было только посочувствовать. Страшно сказать, но в сложившихся условиях многие патриоты стали мечтать о том, чтобы государство рухнуло в одночасье, так как, по их мнению, это послужило бы сигналом к немедленной консолидации общества и выступлению единым фронтом. Однако мгновенного апокалипсиса не случилось. Россия разлагалась медленно. Вещества, близкие к наркотическим, в нее вводили постепенно: от очередной реформы наступала эйфория, ее сменяла ломка, далее — привыкание и новая доза реформ.

В мае 1995 года силам сопротивления наконец удалось договориться о встрече в одной из заброшенных весей Центрального Черноземья. Делегаты, съехавшиеся в деревню из разных уголков страны, заняли избы и условились не разъезжаться, пока не будет выработан совместный программный документ. Публика подобралась разношерстная по социальному положению и взглядам. Поначалу предполагалось определить судьбу России в ДК. Однако деревенский клуб не смог вместить всех делегатов. Пришлось перенести дебаты на большую поляну в березовой роще. Вече на лоне природы действовало целую неделю, но результата не выдало. Среднерусские пейзажи только расхолодили съезд. Разомлевшие от майского солнца участники не заседали, а возлегли на поляне. Настроение было совсем нерабочее.

И все бы ничего, если бы рядом с деревней не текла речушка Синявка. Пока одни занимались представлением проектов по спасению государства, другие разведали, как в водоеме насчет пескаря, щуки и других малоценных пород. Выяснилось, что речка в этом плане порядочная, и ловца человека стал постепенно вытеснять рыбак.

Делегаты один за другим начали перемещаться на берег. Акции идеологов стали падать. Усиливалось влияние людей, знавших толк в снастях, наживке, подкормке и клевых местах. Фамилии этих рыболовов-спецов, к сожалению, не со-

хранились. Имена же они, думается, носили простые апостольские, как то Андрей, Петр или опять же Иоанн.

Правды ради надо сказать, что рыбалка затянула далеко не всех. Некоторые делегаты не поддались наркоманской страсти. Целую неделю пытались они образумить остальных, но разве ж это возможно?! Короче, потерпев фиаско, женщины (а речь, конечно, о них) уехали и, вероятно, прихватили с собой шум и гам, так как после их отъезда воцарилась такая тишина, наступило такое согласие, какие бывают только в парламенте без оппозиции или в парламенте с оппозицией, уехавшем на рыбалку. Дело, ради которого делегаты собрались в деревне, быстро пошло на лад. Все указывало на то, что мужики вскоре выработают совместный программный документ. Нет сомнений, так бы и произошло, если бы не случился невиданный клев. Казалось, в речке кончилась привычная пища хордовых, и они в полном составе перешли на провизию извне. Рыбачье счастье улыбнулось мужикам. Естественно, в таких обстоятельствах принятие программного документа было бы смерти подобно — разъезжаться никому не хотелось. Делать нечего — завязались сторожкие разговоры о том, что Россия — страна большая, многонациональная, многоконфессиональная, противоречивая, экономически и социально непропорциональная и с кондачка вопросы по ней не решаются. Почуввав настроение делегатов, ЦИК собрал совещание у семидесятой рогатулины, обнулil все соглашения и продлил работу съезда аж до желтого листа.

Пошли звонки женам и подругам, что мы, ваши кормильцы и кандидаты в кормильцы, в ближайшее время вернуться никак не можем, так как пробил час испытаний. Далее шло про долг, честь и гражданскую позицию. Как и следовало ожидать, в большинстве случаев на женских концах провода в патриотизм не верили. И мужским концам то и дело приходилось клясться детьми, мамой, Богом в верности избраннице, дышать в трубки, произносить скороговорки про шоссеиную Сашу и речного Грека, вспоминать дни рождения тещ и проделывать другие унижительные для спасителя Отчизны процедуры.

Половина делегатов не прошла учиненные женщинами испытания и была отозвана с передовой. Эта половина могла бы запросто стать доброй, если бы не находчивость некоторых мужиков. Провалив телефонные переговоры, они через день другой перезванивали дамам, устраивали в их ушах ульи и как ни в чем не бывало принимались нанашивать туда мед. Пчелы из решительных сразу гнали медовуху. Это был верный ход. Дамы хмелели от комплиментов и нежных слов, и рыбаки выуживали из памяти все новых и новых представителей флоры и фауны и короновали их уменьшительно-ласкательными суффиксами. Самым ходовым ласковым словом была, конечно, рыба, которую покрывали золотом, хвалили за бархатистость чешуи, обещали поселить в теплых морях, превозносили за икру и — как ни больно было — сокращали до позорных размеров. И льды таяли, и бастионы выбрасывали белые флаги.

А дальше стали твориться интересные вещи. Делегаты стали обживать в деревне, вращать в нее. Подладили покосившиеся избы и надворные постройки. Скинулись и завели коров, лошадей, овец, свиней, кур, гусей, цесарок. Посадили картошку, морковку, лук, репу, капусту, свеклу, сельдерей и укроп. Разношерстный коллектив быстро спланивался через труд. Не хватало разве что крови, которая, как известно, тоже неплохо связывает. Бог милостив — пролилась и она у одного из бывших. Рухнул с крыши, которую починал, и испустил дух второй секретарь Суздальского горкома партии. Хоронили его всем однополым миром, как комдива. Недоставало разве лишь слез. Выручило небо, снабдив глаза дивизии скупой мужской мокротой грибного дождя.

Прошло полтора месяца... Сопротивленцы продолжали жить своей жизнью, оказываясь не по дням, а по часам. Завелись штатные кашевары и кошевые. Рыбный и аграрный промысел дополнился охотничьим. Ватага насквозь провоняла рыбой, костром, махрой и потом. Мужики и не заметили, как через износившуюся одежду и отросшие бороды сравнялись по возрасту и статусу. Выделение пошло по морально-деловым: кому стали прибавлять отчество, у кого — отняли. Однако в целом народ подобрался дельный, поэтому, к примеру, среди Владимиров и Дмитриев не было замечено ни одного Володи и Димы, не говоря уже о Вовках и Димасах. Долго не мог устаканиться только один из Сергеев. Натура была незаурядная, а потому то подымалась в табеле о рангах до отца Сергия, то кубарем скатывалась вниз до Серого. Если читателю интересно, то кончил наш герой Серегой.

Для многих делегатов артельный период стал лучшим временем в жизни. Говорили мужики мало, зато на сто рядов обо всем перемолчали. К августу то один, то другой еще не монах, но уже и не мирянин стал покидать деревню со словами: «Как решите, так и будет. Все приму. Найти меня можно там-то». Так с каждым днем партизан становилось все меньше, и к середине октября расклад по ним установился такой: 748 бородачей — в уме, 22 — на остатке.

Этот остаток и взял на себя ответственность за принятие решений. 10 ноября 1995 года в просторной избе собрался последний совет. Дабы отрезать себе путь к отступлению (а именно не соблазниться на секача, который сутки назад забрел в соседний лес), решили обратиться к опыту папских праймериз в Ватикане и ввели запрет на выход из дома, пока не взвоется над ним дым от «голландки» — свидетельство сделанного выбора. Двух товарищей оставили за народ, который должен был заколотить снаружи все окна и двери и следить с улицы за сигнальной трубой. Как известно, ноябри в России по температуре похожи на декабри, как кролики на зайцев. Возникла опасность печного фальстарта и скорых, необдуманных решений.

В качестве заградотрядов, должных пресечь отход мерзляков к топке, использовали ватники, тулупы, фуфайки и валенки. Что касается пропитания, то ввели строгий пост, который мог стать как великим, так и малым — по обстоятельствам. Из послаблений — добро на исходящие; в полу была вырублена дырка под сортир, если вдруг во время прений кто-то начнет исходить на гумус или захочет наложить на решение большинства свое вето.

Аты-баты, шли дебаты. Вставали со скамей и держали речь разные по цвету и уходу боярские бороды и монгольские мочалки. Каких только «АиФов» из прошлого и настоящего не приводили они в пользу своего мнения! Какими только цитатами не сыпали, карами не пугали, пророчествами не гвоздили! Каких только мертвецов не выволакивали из гробов, богов не призывали в свидетели, параллелей и перпендикуляров не проводили! Тщетно. К согласию прийти не могли. Стали тогда ждать голода и жажды.

И как заурчало и пересохло у всех порядком (а случилось это на пятый день затворничества), поднялась одна спутанная седая борода и молвила: «Мужики, надо сдать Россию!» Страшные эти слова отнюдь не стали громом среди ясного неба. Не потянули они даже на обух по голове. Наоборот — все как будто ждали чего-то подобного. И даже примерно такое уже где-то слышали. И как будто не от предателя и дурака, а от великого патриота и прозорливца. Налицо был эффект дежавю. Чем-то до боли родным и теплым напахнуло от прозвучавшего предложения. Возможно, коровьим навозом, который удобрение суть. Или нет — сучьим пометом в смысле щенячьего барахтанья и писка. В общем, только на первый взгляд венком терновым, а присмотришься — кустом той же марки и поющими в нем.

Забасили, затенорили, забаритонили. Среди возникшего гудежа, в котором долго нельзя было что-либо разобрать, выделялось одно слово — правда, недоделанное. Не слово, короче, а баклуша его. То ли Филиппа какого поминали, то ли филина, то ли зоофила. Мелькала в гуле и Отечественная война. Может, великая. Может, простая. Может, ванильная какая — с ходу и не разберешь, у нас всяких войн навалом. Носились в воздухе и бородинские Наполеоны. Не иначе — хлеба с тортами, все ж таки пять дён на одном патриотизме.

Ладно — харэ интриговать. Включаю быструю перемотку вперед, пусть пожужжит книголента, наделают резких движений наши делегаты. В общем, речь шла об Отечественной войне 1812 года, совете в деревне Фили, на котором Кутузов приказал оставить Москву, чтобы сохранить армию и спасти страну.

Вишь, че творят, читатель? Че орут, слышишь? Сразу говорю: я не при делах, хроникер я. Сливают государство, стервецы. «Сдать Россию, как Москву в двенадцатом! — кричат. — Пусть до ручки народ дойдет — быстрее опамятуется!.. Давать разлагаться и самим разлагать!.. Даешь дно!.. Горький!.. Горько!..» И вся эта сучья свадьба с гиперссылками на циклопий источник (это они так Кутузова, совсем страх потеряли).

Кстати, читатель, ты, случаем, не был на этом совете? Предложенный сценарий ведь экранизирован был: кто в режиссеры подался, кто главную роль сыграл, кто — третьего плана...

А дальше затопили наши делегаты печку и бережно, как свертки с младенцами, внесли в горницу запотевшие бутылки с самогоном. Разлили горячее по чаркам, дюбнули, закусили. Пошел пир горой. И в разгаре гулянки встань один бородач, погладь клиновидную бороду и скажи:

— Товарищи мои, запасной вариант нужен на тот случай, если не сможем найти опору в великом падении, как славные предки наши... Давайте вот что... Давайте новейших людей создадим. Чтоб были они не красные и не белые, а цвета индиго, допустим. Выкуем богатырей без страха и упрека где-нибудь на отшибе, чтоб не коснулась их мразь нынешней десятилетки. Да хоть бы и в тайге. Заложим город за тысячи верст от цивилизации, заселим его малышней мужского пола, взрастим пацанов по всем правилам и засеем ими Расею с запада на восток. Дело хлопотное, рискованное, затажное. Да и ума не приложу, кого готовить надо: воинов ли, управленцев, инженеров ли. Ситуация меняется — по обстоятельствам, значит. Полагаю, за деньгами дело не станет. В нашей артели много непростых ребят. Имеют доступ к золоту партии, кое-кто может и статью в бюджете на каждый год пробить — обмозговать надо. А что — тихонько подберем учителей по военному делу, науке и искусству, чтоб всему обучили мальчиков, и понеслась...

3

...На границе Республики Хакасия и Кемеровской области, в дебрях непролазной тайги, под видом строительства поселка для рабочих алмазного рудника, был раскорчеван участок в пятьдесят тысяч гектаров. Читатель, если ты слышал о знаменитой старовойтке-отшельнице Агафье Лыковой, так вот ее заимка — это проходной двор, центральный офис «Газпрома» по сравнению с Тмутараканью, о которой пойдет речь в книге. Коли брать по прямой — тыща верст до ближайшего жилья будет. Это для Карлсонов и вертолетчиков. Для остальных расстояние меряется уже не верстами, а годами.

Караваны стальных стрекоз потянулись в тайгу, неся во чрева инструменты, стройматериалы, мастеровых. Засновали архитекторы с кипами чертежей. Завизжали пилы, застучали топоры, и пошел расти кедр не по вертикали, а по горизонтали. На лесе не экономили. Сберегали на железе. Без единого гвоздя, по старинным рецептам деревянного зодчества, возводились в сибирской глуши мало- и многоэтажные, экологически чистые, пожароопасные терема, ФАПы, школы и прочие инфраструктурные объекты. Строились и сдавались проверяющим под роспись — где под гжель, где под хохлому, где под дымку. В заботе о спартанском облике будущих поселенцев меблировали здания простыми изделиями из дерева. Насчет обивки не утруждались. Не заморачивались и по поводу полировки, оставив это прикосновениям воспитанников. Из списка необходимостей вычеркнули даже матрасы и подушки. Предполагалось, что во время походов таежный мох и лапник с успехом познакомят курсантов с постельными принадлежностями.

В плане электрического освещения, подобно пращурам, решили положиться на солнце: выкатилось — просыпайся, закатилось — ложись на боковую или используй солнечные батареи, для монтажа и установки которых были выписаны крупные специалисты. Рядом с древнерусскими коттеджами рылись колодцы-журавли, кои подстраховывали современные скважины с насосами.

По всем правилам военного искусства строились и полигоны для подготовки бойцов «Омеги» — на тот случай, если после сдачи диплома выпускникам таежного университета придется столкнуться с феодальной раздробленностью или — того хуже — оккупацией страны. Дебелые самолеты «русланы», подобно бабам, рожали над полигонами вооружение, технику, горючее, боеприпасы, медикаменты, оборудование и обмундирование, обеспечивая формировавшийся в тайге контингент на полтора десятилетия вперед.

Забегая вперед, скажем, что пройдет время — и заполыхают в глухомани недетские зарницы с суровыми десятилетними полковниками во главе бригад, которые будут сажать на «губу» солдат-сверстников за то, что вместо разведанных они вытряхнули из пленного противника информацию о залежах брусники. Или, допустим, за то, что флаг не реял над взятой высотой, а воздушным змеем парил в поднебесье.

Поля в стиле «милитари» сменялись сельхозгодьями. По задумке продуктами питания город должен был обеспечивать себя сам. Воздушным транспортом доставили в тайгу сельхозтехнику, домашний скот, птицу, неприхотливые и морозостойкие семена овощей и злаков. С фруктами, на получение которых уходят годы и годы, курсантов решили не знакомить, справедливо рассудив, что и о картошке до Петра знать не знали — и ничего: трескали репу с кашей и авитаминозом не страдали. Ответственность за снабжение ягодой и дичью возложили на тайгу.

Отдельного слова заслуживает библиотека. Возведенное под нее здание было таким исполинским, что если бы мы повесили внутри Кремлевские куранты или Биг Бен, то они выглядели бы настенными часами в избе-читальне. Какие-нибудь великаны — забредли они в библиотеку — могли бы, не стесняя других посетителей, разложить доску в центре зала и зарубиться в шахматы, используя натуральных коней и слонов. При этом ни одна, с позволения сказать, фигурка не почувствовала бы во время партии ни малейшего дискомфорта, так как имела бы возможность не то что стоять — пастись в клетке часа три-четыре в ожидании хода. Уличные хоккейные коробки — размести мы их в здании — смотрелись бы детскими настольными играми в ангаре для «боингов». В походе от первого стеллажа к последнему можно было разносить новую обувь или досчитать до цифры, после которой школьник прощается с математикой и знакомится с алгеброй. Двести стре-

мянок закупили для доставания книг с высоты ласточкиного полета перед дождем. Десять пожарных машин отрядили для колокольных высей.

А каких только трудов не навезли в библиотеку! По сравнению с этим храмом знания знаменитое книгохранилище конгресса США казалось деревенской часо-венкой. Древность и редкость доставленных в тайгу экземпляров приводили в трепет. Достаточно сказать, что поздняя копия скрижалей завета была признана малоценной и даже не удостоилась места на полке. Ну как поздняя? Внука Моисеева работа. Глиняные таблички шумеров безо всяких объяснений отправились на гончарный круг, чтобы стать прикроватными горшками для нужд мальцов. С формулировкой «На доработку!» вернули в музей подлинники «Правды Ярославичей» и «Великой хартии вольностей». «Билья о правах» 1791 года дополнили отметкой «см» и употребили на самолетики. Что там — ранний пушкинский черновик, инкрустированный авторскими рисунками и составивший любовный треугольник с глазами самого старика Державина, отправили в топку только потому, что «мы можем себе это позволить».

Параллельно со стройкой таежного города велась совсекретная работа по отбору бесхозных мальчиков 1990 года рождения. Их поставщиками стали переполненные детдома. Отделением будущего цвета нации от пустоцвета занимались бывшие и действующие сотрудники спецслужб. В задачу одних входил поиск здоровых мальчиков, другие под видом янки или макаронников их усыновляли, третьи доставляли мелюзгу на пересыльный пункт, четвертые переправляли ее в тайгу.

Медкарты и родословные кандидатов в карапузовую гвардию изучались под микроскопом. Большое внимание уделялось матерям младенцев. Больные, пьянчужки и наркоманки выбраковывались. Гэбистов интересовали только здоровые жертвы первой любви из числа школьных и вузовских отличниц. Изучались тщательно и отцы. Из допустимых для них недостатков — только половая распушенность и курение не взятяг для поддержания мужского авторитета.

Шерстили и бабушек с дедами. Помимо физического и нравственного здоровья, от них требовались долголетие, преданность универсальным идеалам человеческого общежития, активное участие в советском строительстве и легкий налет юморного кухонного диссидентства.

Пра- и прапра- повезло меньше. Все они, включая женщин, должны были не умереть, а погибнуть. Но и в гибели никакого люфта. Сгорел, утонул, разбился, канул в драке по пьянке или глупости — забудь о карьере для правнука. От пращуров требовалась только геройская смерть: лучше — на поле брани, за убеждения или при спасении людей; хуже — при защите чести, которая делилась на собственную (гордыня, выбраковка) и чужую (самопожертвование, правнук в деле).

Целый год шел отбор профессорско-преподавательских кадров и обслуживающего персонала для таежного града. В поисках самородков от науки, культуры и искусства спецслужбы перетрясли и просеяли всю страну. До испытаний допускались исключительно бессемейные мужчины и вдовцы, не связанные никакими обязательствами и с головой погруженные в профессию. Из боязни огласки об эксперименте им рассказывали лишь в общих чертах. Подробности — только после тщательной проверки и подготовки, которые можно смело сравнить с предполетными за бордюры Солнечной системы. Желających навсегда порвать с настоящим и послужить высокому делу нашлось немало — поклон покосившимся гражданским институтам. В общем, было из кого выбирать. Удивительно, но многие мужчины, не сумевшие приспособиться к новым российским реалиям, тем не менее оказались вполне профпригодны для предстоящей Сибириады. Важно также отметить, что

проникли в отбор и популярные в новой стране либеральные веяния — на борт принимались не только Гагарины, но и Титовы.

В итоге кадрам, набранным в таежный город, могли позавидовать лучшие гражданские и военные вузы мира. Приведем читателю лишь один диалог, состоявшийся во время работы приемной комиссии.

— Аркадий Степанович, вы успешно прошли испытания, но, к нашему немалому сожалению, мы можем предложить вам только вакансию дворника. Вы согласны мести пыль на улицах?

— Элементарные частицы... Не пыль — элементарные частицы! Откуда такое неуважение к малым сим? Из газово-пылевой среды, да будет вам известно, образовалась наша планетная система.

— Подумайте. Вы же доктор наук. Прекрасный ученый. Светило.

— Увольте! — бросил Аркадий Степанович.

— Простите?..

— Нанимайте, говорю, а от ваших похвал — увольте!

— Но вы даже не сможете влиять на учебный процесс в соответствии с вашей квалификацией. Максимум — бросите пару фраз проходящим мимо школярам, одна из которых будет приветствием.

— Обойдемся без церемоний! — отмахнулся Аркадий Степанович. — Поднятая ладонь — и к делу!

— И все же ваши шансы быть услышанным и понятым практически равны нулю.

— Вы недооцениваете уличные университеты, игнорируете дворовое образование, молодой человек, — улыбнулся Аркадий Степанович. — Да будет вам известно, что ум и сердце поколения, его менталитет, если хотите, во многом закладывается во дворах. Вспомните себя. Нырните в детство и задержите дыхание. Помните свой первый лабораторный опыт? Как лили свинец — а? Как потом влетело за то, что в качестве рудоносных недр был использован аккумулятор соседа? Как кипящий плюмбум прожег вам куртку?.. А помните Найдю, которую вы подкармливали всем околотком? Помните, как она ждала и встречала вас? Как вы с друзьями научили ее служить и пророчили в цирковые артисты?.. Потом Найдю еще сбила машина.

— Жучку...

— А помните, как вы носили по ней траур? — не унимался экзальтированный доктор. — Как положено — в черной футболке. И это в тридцатиградусную-то жару. Вы заплакали целое море. Вы были безутешны в своем горе и похоронили Жучку под сенью раскудрявого клена с воинскими почестями. Девочки даже сплели венки из одуванчиков. А мальчики смастерили деревянный крест, гвоздем выцарапали на нем месяцы жизни несчастной сучки и пальнули из игрушечных ружей. Что там — вы, лично вы добыли граненый стакан, черный хлеб, водку, соорудили из них мемориальную композицию и водрузили ее на могильный холм по русскому обычаю. А потом были поминки — тризна с печеньем и газировкой...

— Ну-ну, не увлекайтесь, — перебил гэбист.

— А-а, задело, да?! — безжалостно выпалил доктор. — А что вы помните из сидения на уроках? Стояние на Угре, к примеру, помните? Вы тогда в морской бой с соседом зарубились. Наверняка. Вас волновал трехпалубный крейсер, а не окончание трехвекового ига. Вы подумали: «Эка невидаль, стояние на Угре, скука смертная. Стоят, мнутса чего-то». Это ж как талантливо надо было стоять и мяться, чтоб стать вдруг свободными! Нет, вы только попробуйте! Попробуйте!

— Мне встать и помяться? — спросил гэбист.

— Слишком поздно, дорогой вы мой, слишком поздно, — вздохнул Аркадий Степанович. — Вас уже не спасти. А этих детей еще можно. Я привлеку в союзники

Жучек, лапту, хоккей, снеговиков, и мы еще посмотрим, кому будут благоволить недоросли.

— Хорошо... Больше не стану вас мучить. Вот договор на пятнадцать лет. — Работодатель протянул бумагу. — Ознакомьтесь с условиями.

— Это лишнее, все равно надуете, — подмигнул доктор и одним росчерком подмахнул документ. — Ну-с, Рубикон форсирован, а за это не грех и хряпнуть. — Новоиспеченный дворник достал из внутреннего кармана пиджака фляжку с коньяком, приложился к ней и спросил: «Так как, говорите, в тайге насчет Юрьева дня или хоть отпуская?»

— Ответ очевиден.

— Связь с родственниками на время эксперимента, смекаю, тоже не предусмотрена.

— Все верно... Стационарными и переносными радиостанциями мы город, условно, обеспечим, но, сами понимаете, на сестру в Ельце — ведь там, кажется, она у вас живет — вы по ним выйти не сможете.

— И «черный тюльпан», надо полагать, не прилетит за мной, коль сложу я в Сибири свою буйну головушку, — задумчиво, нараспев произнес Аркадий Степанович.

— Не спешите записываться в Ермаки. Подумайте лучше, какие заманчивые перспективы открываются перед вами. Если эксперимент пройдет успешно, ваше имя впишут в учебник по новейшей истории Отечества.

— И светит мне наивысшая степень признания — ненависть школьников. Им ведь придется учить мою биографию, так ведь? — углубил мысль собеседника Аркадий Степанович, глотнул из фляжки и не без мазохизма продолжил: — А скупать мне в учебнике не дадут, это уж как пить дать. Уже вижу, как Петров подрисовал мне усы и совещается с Сидоровым насчет дальнейшего усовершенствования портрета. Петров настаивает на рогах, Сидоров за кольцо в носу. А потом художника вызывают к доске, он мямлит, и Марья Ванна срывается: «Петров, неужели так трудно запомнить годы жизни Бурмистрова?! Это же так просто! Тысяча девятьсот пятьдесят девятый тире две тысячи... две тысячи... Аркадий Степанович Бурмистров не умер, Петров! Такие люди не умирают! В сердцах благодарных потомков они живут вечно!» Спасибо Марье Ванне за ее прелестную забывчивость, а то бы я сейчас стал самым несчастным человеком на земле, начал бы обратный отсчет... А еще предвижу, как именем Аркадия Бурмистрова назовут... нет, нет, не улицу, не площадь и не звезду! Это банально и отдает нафталином. Именем Бурмистрова назовут новый сорт огурцов. Да, да! Морозостойких и неприхотливых! Это за безупречную пятнадцатилетнюю службу в суровой Сибири, если вы не поняли. Мной будут закусывать, меня будут заготавливать впрок, рассол после меня будет возрождать к жизни, — не это ли бессмертье?..

— Восхищаюсь вашим ироничным отношением к себе, — улыбнувшись уголком рта, сказал офицер, — ну да вернемся к делу... Вам может показаться, что мы бросаем участников эксперимента на произвол судьбы. Это не совсем так. Мы намерены продолжительное время поддерживать город с воздуха. Вертолеты будут часто прилетать к вам и сбрасывать грузы, но...

— Но что?

— Но они не будут у вас приземляться.

— Никогда?

— Никогда.

— Даже если пилоты заметят пожар?

— Где?

— Что значит где? Вы смеетесь?

— Ничуть, — ответил офицер. — Где конкретно? В городе? На борту?

- Да вы сам дьявол, — отшатнувшись, произнес доктор, горло его перемело песком. — Ладно, и там, и там. Господи, что я несу. Конечно, и там, и там. Ну?
- Как бы вам помягче сказать, Аркадий Степанович.
- Понятно. Можете не продолжать... Скажите только, как вы после этого будете жить, офицер?
- С вами, доктор. Я подал рапорт о переводе в таежный город. Он подписан. Еще вопросы?
- Никаких.
- Вас разве не интересует гонорар?
- Обижаете.
- И все же знайте, что на каждого жителя города будет заведена круглая сумма. Ей будут распоряжаться лучшие финансисты страны. Через пятнадцать лет вы ни в чем не будете нуждаться...

4

Стояла четвертая зима нулевых годов... Десять четырнадцатилетних были подняты по тревоге спустя час после отбоя. Деревянные кровати без матрасов и подушек мгновенно опустели. Без зевков и потягиваний мальчики стали одеваться. Вковывались быстро. Жизнь в тайге без выходных и каникул, насыщенная учением, трудом и лишениями, до срока сделала их мужчинами. С младенчества у них все было по-взрослому: вместо машинок — машины, вместо пестиков — пистолеты, вместо плюшевых мишек — окрестные шатуны.

Сколько курсанты себя помнили, их программировали на осуществление миссии, примеров которой еще не знала история. Если бы мы спросили ребят о том, что их волнует больше всего на свете, то они бы ничего нам не ответили. Но точно подумали бы о России. Странно, заметит читатель, что подумали бы, а вслух — ни слова. Почему так?

Ну, во-первых, в тайге было просто не принято произносить имя родной страны всуе, как это сейчас делают на Большой земле все, кому не лень. Еще в раннем детстве лесные мальчики с подачи наставников твердо уяснили, что от частого употребления любая святыня замусоливается и утрачивает значимость. Во-вторых (и это самое главное), Россия была для наших юных героев первой любовью — той самой девочкой с первой парты, о чувствах к которой мальчики, как правило, стесняются рассказывать окружающим. До поры до времени стесняются. Очень скоро автор разговорит пацанов на сокровенную для них тему, потому что с молчунами ему будет сложно выполнить поставленную в книге художественную задачу. Вернее, ребята сами разговоятся, так как специально введены в роман в переходном возрасте, в котором, как известно, достаточно искры — и возгорится пламя в виде мучительных или радостных бесед о любви еще не с мамой, но уже с друзьями...

...Десять охотников ушли в ночь. Им поставили задачу добыть дичь для одной из столовых. Дни на это не выделялись. Светлое время суток предназначалось для занятий. Мальчики считали это нормальным, поэтому никто из них не жаловался. Они были уверены, что по-другому нельзя. При этом от них отнюдь не скрывали, что на Большой земле все иначе, что там действуют целые институты по защите прав ребенка и на уроках учитель даже не смеет поднять голос на ученика, не говоря уже о том, чтобы выпороть его или отправить ночью в тайгу за пропитанием.

Подростки, вооруженные автоматами и снайперскими винтовками с ночными прицелами, двигались след в след. Все они были превосходными лыжниками. Об-

ладали недюжинной силой и выносливостью: если кто и вываливал язык на плечо до пересечения линии горизонта, то совсем не от усталости — дразнил бегущего сзади. Скорости тоже развивали приличные: машина бы, конечно, мальчиков обогнала, но при этом шофер непременно включил бы поворотник — из уважения. А уж как ребята стреляли! Худший из них попадал белке минимум в белок глаза. Автор сказал бы — в молоко, если бы после выстрела на мишени можно было разглядеть хоть какую-то конкретику. Однако при вытекании ока никогда не получится глазуни, всегда — оmlет. Мальчики и не подозревали, что по ним, биатлонистам милостью Божьей, уже плачут зимние Олимпиады 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 годов.

К слову, на уроках ребятам рассказывали про Белые игры, пользующиеся большой популярностью на Большой земле. Курсанты с интересом внимали наставникам и диву давались, как такое может быть:

Что на огневых рубежах того же биатлона мишени стоят на месте, а не петляют, как зайцы, не окружают, как волки, не несутся на тебя, как медведи.

Что лыжню пробивают не сами стрелки, а обслуживающий персонал.

Что есть на свете трассы, на которых можно в любой момент перейти с классики на коньковый ход и при этом не застрять между деревьями.

Что десять километров — это уже сама дистанция, а не разминка перед ней.

Что биатлонисты никогда не тащат на спине грузы и не волокут за собой сани с поклажей или хоть колеса от КамАЗов (так называемых раненых).

Что спортсмен, вышедший на официальный старт не в облегающем костюме, а в валенках и полушубке, станет посмешищем.

Что биатлонисты запросто могут себе позволить промазать на огневом рубеже, и за это на них наложат только минутный штраф, а не десятисантиметровый шов от встречи с мишенью.

Что крики людей в лесу — это далеко не всегда облава на зверя.

Что биатлонную славу норвежца Уле Эйнара Бьерндалена, пусть хоть трижды потомка непобедимых викингов, ни один российский спортсмен до сих пор не понизил до славы.

Колонна двигалась молча. Ребята были одеты в белые полушубки, того же цвета ватники, ушанки и унты. Во лбах мальчиков горели шахтерские фонарики. Световые пятнышки, подобно бурундукам, носились друг за другом по сугробам, запрыгивали на кедры и спины впередиидущих, шекотали звезды.

Первым, утапывая снег, шел Толя Ракитянский — серьезный шатен с естественно-научным складом ума, имевший на все собственное мнение и высказывавший его с достоинством, но без превосходства. Бесстрашный — он никогда специально не искушал судьбу, не выискивал адреналина где ни попадя. Отвагой отличался, если так можно сказать, не военной, а гражданской. Словом, он был не из тех, кто со штыком-молодцом добровольно прет на пулю-дуру или вызывается соединить перебитый телефонный провод в собственной челюсти под огнем неприятеля. Он был из тех, кто всходит на эшафот за свои убеждения: от семнадцати до тридцати пяти лет — за политические, от тридцати пяти до глубокой старости — за научные. Изредка Толя поднимал руку, останавливался и прислушивался. Звенья змейки замирали одновременно с ним, не наползая друг на друга.

Для мальчиков тайга не была темным лесом. Они исходили сибирские джунгли вдоль и поперек и умели охотиться как в богатых угодьях, так и там, где с трофеями негусто. Чтобы добраться до участка, выделенного их улице на зиму 2004-го, курсантам предстояло провести в пути около двух часов. Без единого выстрела. Без проверки силков и капканов. Не укради!

У ребят даже не возникало желания присвоить чужое. До определенных границ вокруг них были не охотничьи угодья, а таежный зоопарк, сибирское сафари — смотри, но не трогай. Законы, по которым они жили, были ремиксом библейских заповедей (платиновую «десятку» сократили и подкорректировали в соответствии с возрастом и положением ребят). К примеру, за ненадобностью была вычеркнута заповедь «Не прелюбодействуй». Она и без того соблюдалась по определению, так как город населяли исключительно представители мужского пола, среди которых большинство знало о существовании девочек и женщин только из книг и сбрасываемой с вертолетов прессы. Упразднили для бывших детдомовцев и «почтение к отцу и матери», заменив его уважением к старшим. Вакансию Бога из первой заповеди и вовсе оставили открытой, так как город населяли дети разных национальностей; определиться с верой ребятам предстояло позже на курсе «Религии и секты планеты».

В центре колонны шел друг Толи Ракитянского — рыжий и конопатый Илья Буриков. От быстрого движения, помноженного на простуду, в носу его хлюпало совсем по-весеннему. Сопли он, однако, не распускал. Когда накапливалась критическая масса, Илья зажимал пальцем одну ноздрю, после чего нагнетал давление в другой и выстреливал из нее на снег — да так, что непременно образовывалась проталина. Мальчик был идеалистом. На его лице то и дело появлялась отрешенная улыбка, которой он обрамлял собственные мечты. К примеру, когда Илья узнал, что на Большой земле люди при всей своей многочисленности и скученности нередко страдают от одиночества, то решил изобрести нательный датчик, который бы вспыхивал, когда о человеке кто-нибудь скажет или подумает. Не было еще ни прибора, ни даже соображений, как его сделать, а Илья уже думал о модификациях датчика. К примеру, на земле было много известных людей, о которых вспоминают постоянно. Мальчик решил, что приборы на их телах должны менять цвет от кипенно-белого до иссиня-черного — в зависимости от того, лихом их поминают или добром.

Замыкал колонну зеленоглазый брюнет Сережа Огрызкин. Весельчак, остряк и шалун, он имел во всех углах постоянную прописку. Его колени знали вкус гороха лучше языка. Сережина спина была вдоль и поперек исполосована розгами. Экзекуции мальчик переносил терпеливо, как ямщицкая лошадь: мол, секут да секут, дело привычное. Из презрения к боли он устраивал «в своем клетчатом тылу» целые турниры по «крестикам-ноликам», чем вызывал восхищение у сверстников и наставников. И как лошадь после понукания кнутом бежит быстрее, так и Сережа после порки шалил изощреннее, острил заковыристее, смеялся звонче, но не из духа сопротивления, а так — от радости бытия. Сейчас мальчик обдумывал план побега на Большую землю. Сбежать он хотел не от плохой жизни — Сережа любил учителей и товарищей, и они платили ему тем же и даже переплачивали. Причина крылась в другом: не далее как позавчера сорванец вдруг решил, что он уже все знает и умеет и ему срочно надо в Россию, как обоим его прадедам-подросткам в свое время просто необходимо было на фронт.

Четырнадцатилетние охотники вошли в закрепленный за ними квадрат. После их выхода из дома температура понизилась с тридцати пяти до сорока двух градусов, но взмокшим на марше ребятам казалось, что на улице, наоборот, потеплело. Распахни они полушубки, как русскую душу, и на свободу вырвались бы клубы пара, как после съема крышки с кипящего чайника. Жаль, что рассказать о таком уникальном природном явлении, как запотевание тайги, не представляется возможным, но охотники и не думали раскрываться: простуда по глупости или беспечности приравнивалась к членовредительству. Как типичные кипящие чайники, мальчики давали выход пару исключительно через нос. Даже рты не участвовали в газообра-

зовании, так как дышалки у всех были тренированные и раньше пятнадцатикилометровой отметки не сбивались.

— Рассчитайсь! — скомандовал через плечо Ракитянский и открыл счет: — Первый!

— Второй!.. Третий!.. Четвертый!.. Пятый!.. Шестой!.. Седьмой!.. Восьмой!.. Девятый!.. — поочередно откликнулись звенья, как пушки на поле брани — с дымом изо ртов-жерл.

— Где десятый?! — осведомился Ракитянский, а про себя подумал: «Начинается».

В колонне между тем заулыбались, предвкушая веселье.

— Осло! — выдержав паузу, обозначился Огрызкин.

— Чего?

— Тебе на «О»!

— Ну что ты за человек, Огрызкин? — попенял Ракитянский. — Разве нельзя нормальному ответить?

— А это нормально, по-твоему, что я разучиваю Пензенскую область? — перевел Огрызкин разговор в нужное ему русло.

— Ну при чем тут Пензенская область?

— При том!.. Берциев из Дагестана — разучивает Дагестан! Железняк с Питера — зубрит его! Я с Алтая, семь лет его постигал, а меня на Пензу! Уж две недели как! Спрашивается, за что?!

— Как пить дать — за дисциплину! — подмигнув шедшему сзади мальчику, бросил Ракитянский. — Видать, не достоин ты малой Родины!

— Допустим! Но почему от этого должны страдать пензяки? — возмутился Огрызкин. — Пускай Алтай и страдает! Он хотя бы привык!

— Так-то тебя там и в глаза не видели! — прыснул кто-то в середине колонны.

— Уже и не узрят! — обиженно ответил Огрызкин. — Разучивал-разучивал, ночи не спал, в деревнях уже мужиков по отчеству знал — и на тебе, переставили!.. И с чего вдруг Пенза? Ладно бы ссылка была! Но по истории же ничего не ссылка! Химки без бинокля видать! С биноклем — часы подводи по Кремлевским курантам! Правее, что ль, заслать не могли?! Уже за Урал лень перевалить!

— Не правее — восточнее, Серьга! — поправил Берциев.

— Тишина на охоте! — призвал к порядку Ракитянский. — Развели балаган!

— Блажу, но хоть тайгу не заражаю! — выдал Огрызкин.

Колонна навестила пунцовые уши, почуяв бомбу не ниже кассетной. Уловил подвох и Ракитянский, бывший старшим группы. Он помнил своего друга с тех незапамятных, по его мнению, времен, когда они оба еще не умели завязывать шнуры, и этот факт их ничуть не смущал.

«По-хорошему надо бы промолчать, — подумал Ракитянский, — ну да бог с ним — пусть посмешит ребят, спать двое суток не придется. Завтра — занятия с семи до десяти, потом — стрельбы ночные».

— Я грю — ору, но хоть тайгу не заражаю, — вяло напомнил о себе Огрызкин уже безо всякой надежды, что старшой зацепится и даст покуражиться.

— Помолчал бы, болтун! — ответил Ракитянский, но в голосе его явно читалось: «Мели уж, Емеля».

— Белочки на Бурикова жалуются! — заявил ободренный Огрызкин. — Грят, сморкается направо и налево, хворь по всей тайге разносит! Эпидемия, грят, на носу!.. На буриковском!

Железняк, шедший перед Буриковым, резко развернулся. Сноп света от шахтерского фонарика ослепил Илью. Он растерялся и не успел избавиться от свисавших из ноздрей и взявшихся шугой параллельных прямых.

— Вещдоки налицо! — констатировал Железняк.

— На лице! — поправил Огрызкин.

— Что предлагаешь? — спросил Железняк.

— А глотает пусть! — ответил лесной санитар. — Есть даже такой закон, чтобы соп-ли глотать!

— А если скует в сосульки? — справился кто-то из мальчиков.

— Тогда — соси, а не сбивай, как с крыши! — деловито распорядился Огрызкин. — Зелень надо при себе оставлять, а то инфекция по всей тайге расползется! Добром прошу, Буря, — законопать ноздри и дыши ртом! А лучше мягким местом! Ты ж умеешь через него выдыхать, когда гороха объешься! Значит, где-то должна быть и опция вдоха! Поищи, брат! Поковырайся, где следует, — не ставь под удар таежную экосистему! Течь в носу — это серьезно! Это вам не то!

— Что не то-то? — прыснул Железняк.

— Не то нетто, не то брутто! — мгновенно срифмовал плут.

Колонна, схватившись за животы, повалилась в снег. Казалось, тайгу заполнили тройки с бубенцами — искрист, звонок и рассыпчат был мальчишеский смех, ни один голос еще не тронула ломка.

— Не помрешь ты своей смертью, Огрызкин!.. Пензу приплел!.. Бурикову нос утер!... Не то нетто! Ай да Огрызкин!.. — неслось из смятых сугробов.

Огрызкин же с каждой секундой мрачнел...

— Ржете, ржа, — сурово сказал он, когда товарищи отсмеялись. — А там, за лесами, люди еле концы с концами сводят. Мрут, как мухи, от коррупции и рака! Сводки забыли?! Я напому! Первого сентября — захват детей в бесланской школе! А, Берциев?! Где ты был, когда наших с тобой детей убивали?

— На учениях, — угрюмо ответил Аслан. — Танки, сам же помнишь, водили.

— Танки он водил, — хмыкнул Огрызкин. — Тебе только велосипед водить на коленах у инструктора. Пасынок гор!

Глаза Берциева окрасились в мак. Ноздри заработали, как меха в кузне. Он и сам не понял, как оказался напротив обидчика и двумя пальцами взял его за то место, где через год должен был проклянуться кадык.

— Не могу я уже тут! — прохрипел горшок с ухватом. — В РФ нам надо, ребята! Там жизнь!

— А ну разошлись, — приказал Ракитянский. — В РФ он собрался. Так там тебя и ждут. С карцера не вылазишь. Зад со спиной не заживают, а в РФ намылился. Че молчишь, что сотовые на Большой земле хотел посмотреть? Ну, которые ты в журнале видел. Давай же — признайся отряду. А я тебе говорю — та же рация, только шипения нет. Сбросят и нам с вертушек для ознакомления.

— Думаешь, сбросят? — против воли вырвалось у Огрызкина.

— Не сомневайся, — улыбнулся Ракитянский, — отстать не дадут.

— Я не только из-за сотовых в РФ-то, — заоправдывался попавшийся на крючок пройдоха. — Мож, только тридцать процентов, что из-за них.

— Полста один, — пригвоздил Ракитянский. — Контрольный пакет, Сережа. Забудь о побеге. Тебе четырнадцать. Будто не знаешь, что для Большой земли ты еще ребенок. Не дадут тебе там развернуться. У тебя там детство сейчас идет. Это когда за тебя вроде живут. А ты не живешь, ты так — числишься. Тебе ничего не доверяют, оберегают от всего. Ты как комнатное растение, у которого две задачи: радовать глаз и ходить в горшок, а не мимо. Короче, тебя там всерьез не воспримут.

— Еще как воспримут, — не согласился Огрызкин. — Не возрастом, так умом не по годам возьму. Наставники говорили, что по меркам материка мы все — вундеркинды.

— Это ты-то вундеркинд? — улыбнулся Ракитянский.

— Это я-то... Не по нашим критериям, конечно. По материковым.

— Нашел чем гордиться, — произнес Ракитянский. — Лучше быть последним в нашей глуши, чем первым в их цивилизации. Сам же видел, какая там школьная программа. Макака — и та освоит, ни разу на второй год не останется. Даже из-за поведения не останется — читал же, как ведут себя тамошние школяры. На их фоне наша обезьянка пай-девочкой покажется. Но самое страшное, что в ее аттестате даже пятерки будут. И не только по физкультуре с изо. Это и так понятно. С ее-то физической подготовкой. С культом-то импрессионизма в живописи. — Ракитянский вздохнул. — Эх, то ли жалеют учеников, то ли гробят — отсюда не разберешь.

— Убедил! — сказал Огрызкин. — Убедил, что с моей подготовкой я там не пропаду. Вот только доберусь до России — и сразу в аспирантуру... В две!

— А че не в четыре? — произнес Ракитянский и лег на другой галс: — Ладно, с другой стороны зайдем. Вот ты, Серега, самый хитрый из нас. Самый, можно сказать, прожженный. Но помнишь же, что тебе сказал наш психолог? Что ты — само простодушие для Большой земли. Что бесхитростнее тебя никого на материке и не сыщешь. Это здесь ты король лукавцев, всех вокруг пальца обведешь, а там ты — дитя неразумное, пропадешь зазря, — произнес Ракитянский и обратился ко всем: — Братя, про простодушие ко всем относится! Слышали же, как наставники все время говорят, что мы чисто дети малые! Вроде без укоризны говорят, а в глазах — то ли тоска, то ли жалость! Это плохой знак! Если мы дети, значит, мы не взрослые! А если мы не взрослые, значит, еще не доросли до Большой земли! Простодушие отодвигает нас от встречи с Россией!

— Я вот не согласен, что мы простодушные, — подключился Буриков.

— Не согласен он, — встрял Огрызкин. — На конечности свои лучше глянь. Унты где?

— Как?! — всплеснув руками, воскликнул Буриков и бросил взгляд на ноги. — На месте вроде.

— То-то же, — ощерился прохвост. — Простодушный и есть. Ты че ж сам не чуешь, что у тебя ходули в тепле? Нет, нельзя тебе в Россию — не то что мне... Кстати, может, в РФ все не так уж плохо, — а, ребят? Мож, специально на страну наговаривают, чтоб подольше нас тут держать. Ну, типа, в России все очень серьезно, и вы, ну то есть мы, еще не готовы для большого дела.

— Ты думаешь, врут нам про Большую землю наставники и пресса? — вмешался Железняк. — Ну, про Беслан, про взрывы домов в Волгодонске, про нищету, про все.

— Я не сказал, что врут, — произнес Огрызкин. — Но наверняка факты нам подают уже в переработанном виде. Плохое специально преувеличивают, чтобы мы готовились к самому страшному, хорошее преуменьшают, чтоб не расслаблялись мы. Видели же, что в газетах и журналах, которые нам с воздуха сбрасывают, нет фото людей. Это, думаю, потому, что по лицам можно многое понять. Так вот кто после этого даст гарантию, что рука редактора еще и по текстам не прошла? Зуб даю — плохое точно преувеличивают. Ну, как в сказках. Вот наверняка у Змей Горыныча одна голова, если он не урод с Кунсткамеры. Но ему еще две привинтили, чтоб ты, так сказать, проникся. То же самое с Бесланом. Наверняка бандиты захватили десантный полк, а не школу. Не верю я, что школу-то. Особенно — горцы. Они ищут равного, сильнее себя даже. Вспомните Лермонтова, «дикие» дивизии. Но нам всё специально преувеличили, усложнили как бы задачу, которую надо было бы решать, если б мы там были.

— Почему ее усложнили за счет мужчин моего народа? — с болью произнес Берциев.

— Потому что ты сын Кавказа, — серьезно ответил Огрызкин. — Ты это пятно (пусть и придуманное, понарощечное) вынесешь, а я — нет. Хоть и алтайский сибиряк, а не вынесу. Я с ума сойду, Аслан, и всех вас перестреляю. И всех детей перестре-

ляю, и женщин, и стариков, чтоб не жили на такой земле... Там же не горцы, Аслан, были, если с детьми правда. Там отродье. Если с детьми правда, то нелюдей — я просто уверен — кое-как и наскребли-то для одного раза. Весь Кавказ с лупой облазали, в каждое ущелье заглянули. И не хватило, Аслан! Недостача все равно! Добивали наемниками отовсюду.

— Лучше б нас захватили, — буркнул Берциев.

— Это еще бы кто кого, — произнес Ракитянский и прервал привал: — Строиться! Огрызкин — первый! Я — замыкающий!

Мороз лютовал... То тут, то там одиночными и очередями стреляли кедр, словно за ними держали оборону партизаны. На многих деревьях, мимо которых проходили ребята, имелись вматины от ударов колотом (что-то вроде деревянного молотка-киянки с баскетбольный рост, с помощью которого сбиваются с макушек созревшие шишки). Технология добычи такая: ручка втыкается в землю, и три человека принимаются бить по кедру. Один из мужиков стоит спиной к стволу и направляет колот, двое других с оттяжкой молотят по дереву, словно забивая гвоздь, шляпа которого размером с ковбойскую. Дубасят по кедру непрерывно, чтобы он завибрировал и сбросил орех. Наверх при этом никто не смотрит: можно получить по лбу. Все только слушают. Сорвавшиеся с макушки шишки заявят о себе свистом. Раззявишь рот, не успеешь укрыться под набалдашником колота — набьешь себе то, за чем пожаловал, соберешь урожай еще и с головы. Таежники знают истинную цену ореха. Он баснословно дорог даже от производителя. Походи-ка по горам с тяжелым молотком. Полазай-ка в «когтях» электрика на макушки кедров за не дошедшей до кондиции шишкой. Покрути-ка утыканный гвоздями барабан-еж, отделяя зерна от чешуи. Попросеивай-ка через сито орешки, избавляя их от шелухи. Поотвеивай-ка их, посуши-ка, попрядься-ка со своим промышленным, по мнению инспекторов, объемом в полтора-два мешка «чистого» на выездах из тайги — узнаешь тогда, че почем.

Наши четырнадцатилетние герои познали адов труд по сбору ореха в десять лет. Поначалу они не могли сбить и трех шишек с кедра. Все больше им приходилось лазить на макушки деревьев и сшибать урожай длинными палками-удочками. Производительность труда была невысокой, как и сами ребята. Несмотря на серьезную, до насупленных бровей Вяя физподготовку (да простит мне читатель это пышное восточное сравнение), дело не ладилось. Но осенью 2004-го, буквально за несколько месяцев до описываемых в книге событий, неожиданно наступил прорыв. Имя ему — акселерация. Мальчики вдруг вытянулись, раздались в плечах, и колот, бывший для них как бы трехмерной прописной «Т», словно усох до строчной буквы.

Ребята расслабились при входе в свой промысловый квадрат. Тому, что территория принадлежала мальчикам с Зимнего конца города, не было никаких свидетельств в виде флажков, зарубок или щитов с надписями. Люди и так знали рубежи своих участков. Что касается животных, то границы для них обозначались позвериному — жидкими и твердыми отправлениями. Во время пребывания в тайге высохшие, припорошенные и разложившиеся метки непрерывно подновлялись, как подкрашиваются выцветшие и облупившиеся заборы. Это было верхом непрофессионализма, так как людская вонь, как известно, отпугивает дичь. Прекрасно знали об этом и мальчики, но тем не менее уже второй год продолжали упорно проверять мочекаловую гипотезу Ленки Свиблова с Летнего конца города. Малец предположил, что зверье должно со временем привыкаться и привыкнуть к квинт-эссенции человеческого естества (прямо так и выразился, злодей), а там, мол, не только с добычей проблем не будет — недалеко и до приручения отдельных видов.

Дерзкая эта мысль подкупила всех своей простотой, и весь мальчишеский мир принялся создавать эффект присутствия людей где только можно.

Пока гипотеза о приручении видов проверялась, таежному городу ничего другого не оставалось, как, помимо домашнего, держать дикий скот. Условно держать, конечно. Никаких загонов, стаяк, ферм не было — фауна бродила на воле. И все же было во всем этом много от первобытного животноводства. Зверей не только убивали. Их и подкармливали. И даже не подкармливали — кормили на убой. Причем на убой больше в переносном, чем в прямом смысле. Шведские столы буквально ломались от сена, овса, отрубей и отходов. Несмотря на это, одомашнивание почти не продвигалось: волки не превращались в собак, рыси не трансформировались в кошек, зайцы не эволюционировали в кроликов. Атомарные успехи зимних и весенних подкормочных кампаний перечеркивались летом и осенью, когда пищи для хищников и травоядных в тайге имелось в достатке. Невдомек было курсантам, что должны были пройти не годы, а тысячелетия, чтобы волк лег возле дома двуногого существа и отпел лесную глушь в своем сердце.

Мальчишеские неудачи только радовали наставников. Тут была суровая метода. Ребят учили безответной любви. Не жди взаимности ни от зверей, ни от людей, терпеливо делай свое дело изо дня в день, из года в год — вот доблесть, достойная древних. И строились для голодающих птиц социальные кафешки под открытым небом, где кедровые становились официантами и получали на кормушки-подносы чаевые в виде помета соек и фазанов. И возводились для недоедающих жвачных крытые столовки, в которых подавались разнотравные сухпайки, посыпанные серо-белыми лизунцовыми комками. И закатывались в зимние берлоги бочонки с щедрыми пчелиными взятками, чтобы у таежных хозяев, взявших на лапу после пробуждения, не случилось весеннего обострения.

У мальчиков все шло гладко. Скоро они должны были разбрестись по участку, как грибники, и начать проверку силков, ловушек и капканов с мертвыми и живыми зверьками, укутанными в несбыточные грезы женщин северных широт. В ребятах пробудился охотничий азарт. Сердцебиения участились. Дыхания сперлись. В глотках пересохло. Мальчики заоблизывались, и их губы стали трескаться и крошиться, как лед под ливонскими рыцарями в сорок втором тыща двести.

Азарт приглушил инстинкт самосохранения. Если нижние ярусы тайги ребята еще хоть как-то контролировали, то верхние стали игнорировать. Это была роскошь, позволительная степнякам, имеющим дело только с первым этажом природы. Степнякам — да, но никак не таежникам. Кто не знал — сибирские леса подметают небо. Кто забыл — вечнозеленые макушки венчают не игрушечные, а настоящие звезды.

Две грациозных рыси — ушные кисточки которых, казалось, были просто созданы для того, чтобы перед эфиром ласкать лики телеведущих, — передвигались по ветвяным мостам густой тайги. Размеры кошек поражали. Львы? Холодно. Тигры? Теплее. Барсы? Горячо. Природа удостоила рысью чету высокой чести — первой водрузить флаг на вершине эволюции своего вида.

Хищники создали пару на время гона и охотились вместе уже около недели. Самка была знакома с человеком — точнее, с его прямоходящим летним вариантом, малопривлекательным для нападения сверху. А вот зимняя версия людей в плане охоты устраивала кошку вполне. Ее любовника тоже. Спины идущих лыжников так аппетитно сгибались, представляли собой такие хорошие площадки для приземления, что просто нельзя было не прельститься. Вдобавок к этому спортивная горбатость визуально уменьшала мальчиков, что немаловажно для хищников средних размеров. В общем, дичь приняла решение десантироваться на потерявших

бдительность охотников. Рыси обогнали мальчишеский отряд, выбрали место для нападения и стали ждать приближения ребят. Самка гримасничала. Ее бойфренд прищипывал себя куцым хвостом...

«Воздух!» — распорол безмолвие крик арьергардного Ракитянского.

С неба падали логотипы сибирского филиала фирмы «Пума». Не прошло и двух секунд после синхронного прыжка рысей, как два мальчика стали проседать, словно мартовский снег, складываться сверху вниз, подобно взорванным башням-близнецам в Нью-Йорке. Два клубка с рычанием и визгом закатались по снегу. Первый удар хищников приняли на себя травоядные: кролики на головах и овцы на туловищах. Шкуры мертвых спасали шкуры живых.

Нельзя сказать, что два мальчика, которые подверглись нападению, отличались бесстрашием. Храбреца ведь только тогда можно назвать храбрецом, когда в его окружении есть антиподы. Однако трусов среди ребят не водилось. Градус отваги был у всех высокий и примерно одинаковый: у кого плюс тридцать два по шкале мужества, у кого — плюс тридцать четыре. Короче, жара да жара. Между тем для адекватных, быстрых и решительных действий в минуты смертельной опасности все-таки необходимо испытывать боязнь (не путать с ужасом), чтобы в кровь выбросился адреналин. Этого требует инстинкт самосохранения, которым мальчишки обделены не были. Они чувствовали, если так можно сказать, линиялый страх. Их состояние было сродни волнению студента перед сессией: убить не убьют, но могут отчислить.

Это автор еще и к тому, что в пылу сражения в ход пошли стальные шпиргалки. Они были во многом похожи на обычные. Ничего лишнего. Отточенная, помещающаяся в кулак суть. Возможность вытащить из унтов ножи-бабочки и раскрыть их крылья представилась Диме Агафонову и Юре Свинцову довольно скоро. Им требовалось всего-ничего — выжить в первую минуту. И мороз предоставил мальчикам такую возможность. Именно он заставил ребят поднять воротники полушубков еще при выходе из дома. Броня, прикрывавшая шею, не позволила рысям мгновенно добраться до сонных артерий. Такой расклад обескуражил и обозлил кошек. Привыкшие быстро решать исход битвы, они потеряли контроль над собой и стали рвать и метать не там, где следовало. Их пасти постепенно забивались шерстью и работали уже не так проворно, как им бы хотелось.

Пролилась первая кровь. Поляна окрасилась в цвета польского флага, Гражданской нашей войны. Мальчики ничуть не уступали кошкам в дикости. Они рыхлили бока рысей ножами, не подозревая, что в соцсетях, должных появиться в обозримом будущем, за такое отношение к барсам и Барсикам будут предавать анафеме и распинать на виртуальных стенах вниз головой. Охотники дырявили кошек, как воздушные шары после праздника, чтобы из них вышли все — девятью два — восемнадцать их жизней. Рыси не оставались в долгу и расковыривали тела мальчиков лапами-капарульками. Это были достойные соперники. Колотые и резаные раны росли с обеих сторон, но таежные ратоборцы не ослабевали. Их битва отдавала компьютерной игрой «Mortal Combat»: вроде видно, как у соперников укорачиваются жизненные линии внизу монитора, но это никак не отражается на мощи ударов; тот, кому следующая вертушка грозит нокаутом, бьет так же сильно, как и его соперник с девяностопятипроцентным запасом энергии. Жизни, как и полагается серьезным лотам, продавались по баснословной цене.

С первых секунд боя сражавшиеся попали в прицел автоматов и винтовок. Щелчки затворов. Пальцы на курках. Задержка дыхания.

— Не стрелять! — крик Ракитянского.

Это был не то чтобы неверный приказ в данных обстоятельствах — недокрученный, скажем. Толина ошибка уходила корнями в его боевую подготовку. Она

была слишком хорошей. Мальчик так часто слышал стрельбу на полигонах, что привык к ней и переносил свою привычку на окружающую среду. Действительно, по слипшимся клубкам бойцов палить было нельзя — высока вероятность попадания в человека. Однако есть же еще и воздух. Звуки выстрелов обратили бы рысей в бегство. Но мальчики не умели бить в «молоко». Когда Ракитянский запретил им открывать огонь, ребята замерли и стали напоминать столбы ЛЭП: при отсутствии движения — высокое напряжение в соединявших их взглядах-проводах. Долго так продолжаться не могло. Мальчикам требовалась разрядка.

— Буриков! — выкрик Ракитянского.

— Я!

— Оружие наземь! Пошел!

— Есть!

— Огрызкин!

— Ослик! — брякнул Сережа, верный себе в любых обстоятельствах.

— Убью!

— Иа!

— Пшел!

— Есть!

Катавшие по земле комки из мяса и тряпок впитали в себя дополнительных бойцов. Не прошло и пяти секунд, как клубки развязались — отскочили рыси. Это было роковой ошибкой кошачьей четы. Как к ленинскому Мавзолею, потянулись к рысям автоматные очереди. Паломничество пуль не давало кошкам упасть. Плотный огневой хадж со всех сторон заставлял их извиваться и корчиться. С полминуты они казались живее всех живых...

Хлопьями повалил снег. Охотники сгрудились вокруг раненого Агафонова. У него был вспорот живот. Кишки сосисочно-сардельковой лентой вывалились наружу.

— Дима! — стоя на коленях, тряс Ракитянский впавшего в забытье товарища. — Агафонов!

Залепанный кровью мальчик открыл глаза.

— Зябну... Пить, — пролепетал он.

— Полушубок! Воду! — повернувшись, отдал команды Ракитянский стоявшим рядом товарищам и снова к раненому: — Димка! Не отключайся! Говори со мной!

— Живо-о-от, — простонал Агафонов. — Горит там... Потушите, братцы. Снегом хоть.

— Буриков, промедол! — бросил через плечо Ракитянский. — Две ампулы! Быстро!

— Я вколю, — сказал Берциев и стал рыться в вещмешке. — Буриков это — отошел.

— Как отошел? — опешил Ракитянский. — Ведь вот же живым видел.

— Да не в том смысле, — успокоил Берциев. — Глаз просто пошел искать.

— Чего?

— Глаз, говорю, ищет, — повторил Берциев.

— Какой еще глаз?!

— Свой, какой.

— Да ты в своем уме?! — вскричал Ракитянский. — Какой, к черту, глаз?!

— Да правый вроде, — пожал плечами, буднично ответил Берциев, как будто потерянный глаз — это что-то вроде посеянных ключей.

Ракитянский хуком справа расположил Берциева по горизонтали.

— За что, кэп? — приложив снег к рассеченной губе, спросил Аслан. — Думаешь, я ему не говорил, что глаз он не найдет, бесполезно это. Ладно бы выпал — вытек же. Одно слово — лужица. А теперь уж наверняка льдом взялась, мороз-то вон какой, —

взялся размышлять Берциев. — Или помочь ему поискать? — встрепенулся он. — Так ты скажи, че сразу драться-то?

— Встать! — бросил Ракитянский и на всю тайгу — Рассчитайсь! Всех касается! Одноглазые, лежащие включительно!

Ракитянский знал, что Агафонову крышка. Знали это и другие мальчики, и сам Агафонов. После того как раненому вкололи обезболивающее и ему стало легче, с ребятами стали твориться странные вещи. Они профессионально замедлили время, чтобы как можно дольше побыть с товарищем при жизни, как можно лучше запомнить его. Секунды были превращены не в тысячелетия — в эпохи. А у некоторых — в целые эры. Никакого чуда. С детства мальчиков учили, что при желании каждый может проводить операции по ускорению или замедлению времени. Науку о часах постигали с азов: хочешь убыстрить бег стрелок — не смотри на них, найди себе интересное занятие; желаешь обратного — не своди глаз с ходиков, выбери себе работу не по душе — желательна однообразная. Постепенно программа по управлению временем усложнялась, и к четырнадцати годам курсанты уже довольно хорошо умели водить time-машину.

Читатель, наверно, сейчас содрогнется, но чтобы как можно дольше побыть с товарищем при жизни, как можно лучше запечатлеть его в памяти — Агафонову целенаправленно стали желать скорейшей смерти. И не как человеку, которого любишь, на страдания которого невозможно смотреть. Для замедления времени любовь не годилась совсем — с ней и оглянуться не успеешь, как надо будет закрывать другу глаза.

Требовалось чувство прямо противоположное — ненависть. И курсанты не дрогнули, вспыхнули ей один за другим. Они собрали в кучу немудреные грехи Агафонова и раздули эти угольки в пионерские костры. Потом приписали ему и чужие. В итоге как бы получилось так, что пусть и не он двинул немецко-фашистские полчища на Советы, но мог бы вполне. Не он прибывал Христа к кресту, но был бы не прочь поучаствовать в распятии. Не он являлся инициатором ледникового периода, но заготовил бы мамонтов впрок, представься ему такая возможность.

В общем, Диме желали смерти как предателю и подонку. Наследники так не ждут кончины богатого родственника, мать так не жаждет того света для человека, который надругался над ее дочерью, как желали смерти раненому. Сдохни, тварь, — как бы просили мальчишки. И тварь, соответственно, все жила и жила. Чего курсанты и добивались.

— Толь, не увижу Россию-то, — обратился Агафонов к склонившемуся над ним Ракитянскому.

— Ты и так в ней, — ответил Ракитянский где-то через век.

— Настоящую бы, — попросил раненый, выждав примерно тысячу лет.

— На картинках же видел, — эры через полторы произнес Ракитянский.

— Так то — на картинках, — выпалил Агафонов почти сразу, лет через сорок, и припух мезозоя на два. — Толя, почему я?

— Согнулся больше других, — протомил Ракитянский товарища не больше века, правда, каменного.

— Глупо все, — молвил Агафонов всего спустя зиму, только ядерную.

Глаза Ракитянского увлажнились. Увидев это, время сорвалось с цепи и больше не лечило.

— У тебя глаза затопило, — сказал раненый. — Снежинки же тают?

— Они, — твердо ответил Ракитянский, чтобы Агафонов не сомневался, что он жил и умрет среди настоящих, не знающих слабости мужчин. — Не глаза у меня сейчас — угли. Топят снег на раз. Ты же видишь их цвет.

— Ага, красные, а зрачок черный, — теперь вполне успокоился раненый. — А мне поделом, Толя. Я спину врагу показал.

— Ты просто сильно согнулся, когда шел! Они ж сверху напали!

— Я показал спину, — отрезал Агафонов.

Раненый собрал последние силы для контрольного спича.

— Братья, ну не все же доходят до Берлина! — пережив судорогу, прокричал он не словно, а натурально оправдываясь. — Ну не всем же везет! Ну кто-то ж и под Брянском должен кануть! И если б в наступлении — при отходе! Под проклятия женщин и детей! И не от пули — от солнечного удара! Пилотки ж не досталось!.. Все — кончаюсь, братцы! Без меня теперь! Сами!

Агафонов дернулся, улыбнулся и вытянулся...

— Шапки долой! — бросил Огрызкин.

Не прошло и минуты, как начались огневые проводы товарища в последний путь, расстрел несправедливого неба. Звезды падали, слетали с него, как с погон провинившихся офицеров. Досталось и земле. Окурки пуль — стреляные гильзы — сотнями тушились в ее белоснежной ночнушке, как в пепельнице. На кончиках дул распускались оранжевые цветы. Пальба продолжалась до тех пор, пока автоматные магазины не опустели, как их советские тезки. Ребята задыхались от задавленных рыданий. Агафонов стал двести восемьдесят шестым мальчиком, оплатившим собой проживание товарищей в одном из самых красивых и суровых мест планеты. Впереди еще было много других авансов, плат, переплат...

— Не раскисать, — сказал Ракитянский, когда стрельба стихла. — Железняк, Берциев, Холодцов, Кувардин, готовьте носилки! Пройдемся с Димкой в последний раз! Огрызкин, распрями брата, пока не заоченел! Никаких сгибов чтоб — похороны впереди! Чтоб был прямой, как подлежащее, а то оба сказуемым станете! Димка не первый и не последний — во всех концах города потери были. Привыкнуть бы надо, да не получается... А помните, как он мед раздобыл, когда нас еды лишили?! Красть нельзя — в тайгу сбежал, несмотря на запрет. У леса украл, светлая душа. У пчел, чтоб нас подкормить. Да и сам напоролся от пуза! Ушел Димка, а прикатился Колобок. Глаз не видать — заплыли. «От жира, — говорит, — вспухли», — и улыбается. А жир капает, капает, течет по щекам. Как добрался — не знаю. Не видел же. Впотьмах средь бела дня возвращался. — Голос Ракитянского сорвался. — Любил потому что нас, жалел!.. Че с глазом-то, Ильюха?

— А нет его, да и Бог с ним, правый же, — сняв бинт с впадины, ответил Буриков так, словно правый глаз — это что-то вроде аппендикса, который вырезают, и ничего. — Флибустьером теперь буду, как в книжках. А Диму не забудем. Попрошу, чтоб его Орловщину мне отдали. В нагрузку...

5

Прошло три года...

Жизнь на Большой земле перестала быть дерганой. Ее нельзя было назвать ни хорошей, ни плохой, а так — подготовительной то ли к хорошему, то ли к плохому. Люди и государство (да простят мне читатели это разделение) уже могли тратить, но делали это по мелочам, больше же откладывали на что-то серьезное — то ли на осуществление заветных желаний, то ли на решение грандиозных проблем. Ни в одной сфере не виделось особого прогресса, но и регресса, надо отдать должное нулевым, тоже не наблюдалось. Все как будто накапливались в материальном и духовном плане, а для чего — никто не знал.

В стране завелись деньги. Еще не прямо, но — слава богу — уже хотя бы косвенно об этом можно было судить по выросшим в разы взяткам и откатам — тоже ведь показатель, а не тоже мне, как может подуматься сперва. Россия смахивала на барыню, которая питалась нефтегазовыми плюшками, жирнела, становилась все более неповоротливой и убаюкивала себя тем, что в тяжелые времена организм будет питаться целлюлитными отложениями. Движение свелось почти на ноль.

Что касается таежного града, то он был переведен на самообеспечение в конце 2006 года. Заморозка финансирования, после которой полностью прекратились воздушные поставки грузов с Большой земли, несказанно обрадовала лесных жителей — особенно юных. И дело было не только в гордости, что, мол, мы теперь сами с усами.

Главная причина крылась в том, что надежные, как слепоглухонемота, пилоты наряду с гумпомощью перестали сбрасывать на город самые настоящие бумажные деньги, которыми в тайге откровенно брезговали. Такое отношение к родному рублю (валюту не скидывали) объяснялось просто. В лесной республике денежные купюры использовались не для операций по купле-продаже, а в качестве туалетной бумаги. Ежемесячно на город сваливалось целое состояние. Кабы такая наличность пару раз осталась на Большой земле и поступила в обращение — произошла бы девальвация.

Многолетние финансовые бомбежки достигли цели. Если у кого-то из курсантов и была генетическая предрасположенность к взяточничеству, заложенная в русском коде с незапамятных времен, то уже к середине таежного курса от нее не осталось и хромосомы на хромосоме. Деньги у юношей стали стойко ассоциироваться с экскрементами. При этом иностранная валюта презирилась больше отечественной, так как не годилась даже на туалетную бумагу (ну, раз не сбрасывают, значит, не годится — такой парни сделали вывод).

Эх, поглазеть бы на человека, который попытался бы в будущем купить лесных выпускников. Их, пропустивших через зад миллиарды. Их, истративших на гигиену вроде бы только тела (а на поверку и души) такие капиталы, что увидь эти цифры дядя Скрудж, крикнул бы сразу.

Жесткость купюр, мягко говоря, не добавляла им популярности. Они ведь напоминали отнюдь не лопухи, пользоваться которыми (как и обычной бумагой) строго запрещалось. Банкноты, выпущенные на спецстанках, зачищали зады, как наждачка. Так курсантов учили еще и финансовой экономии на предстоящей им государственной службе — лишний раз ведь не проведешь между ляжек рубанком, себе дороже. В общем, десять лет к ряду проходы горели крапивным жаром вне зависимости от показателей в учебе и поведении. Поносы становились карой небесной, запоры — благословением господним.

Отлучение от материковой титьки пошло таежному граду только на пользу. По правде сказать, сосок давно надо было намазать горчицей, так как таежная сечь уже с года эдак 1998-го вполне могла сама себя прокормить. Нет, безусловно, случались времена, когда юным колонистам приходилось терпеть большую нужду. Но в этом, извините, они были виноваты сами. Видите ли, им до последнего не хотелось использовать для выхода из полной задницы те самые пресловутые дотации, о которых автор подробно поведал читателю в предыдущих абзацах. Ну да жизнь — штука жестокая. Научила она курсантов, что с большой нуждой шутики плохи: хочешь оправиться — используй все подручные средства.

И все было бы в городе просто замечательно, если бы не корреспонденция из России. Начиная с 2005 года и вплоть до закрытия воздушного пути вертолеты из месяца в месяц сбрасывали на головы лесных жителей газеты и журналы, из которых становилось ясно, что криз миновал, страна вышла из комы и сменила постель-

ный режим на авторитарный в либерально-демократическую крапинку. Казалось бы, таежные поселенцы должны были радоваться если уж не новому государственно-политическому строю, то, по крайней мере, переводу России из реанимации в общую палату. Однако обнадеживающие сводки с материка вызывали не эйфорию, а тревогу, которая со временем переросла в противостояние между колонистами.

Камнем преткновения послужил вопрос о дальнейшем пути развития города. Там и сям стали раздаваться голоса, что угроза завоевания и распада России миновала, следовательно, необходимо покончить с военщиной и сделать ставку на подготовку юношей прежде всего по гражданским специальностям. Курс на реформы не встретил поддержки большинства наставников и курсантов. Многочисленным тем, которых называют «ястребами», раз за разом удавалось затыкать клювы малочисленным тем, коих именуют «голубями». Многогочие в конфронтации поставило пришедшее на имя мэра в октябре 2006-го официальное письмо из Кремля, который был, конечно, осведомлен о существовании лесной республики.

В тексте говорилось, что Россия вступила в новый исторический период, в котором возрастает потребность в высококвалифицированных рабочих, крестьянах, менеджерах, инженерах, ученых, программистах, строителях, врачах, педагогах, журналистах, экономистах (?), юристах (?), в связи с чем лесному городу настоятельно рекомендуется переориентироваться на подготовку кадров по гражданским специальностям. А что до армии и ВПК, то, мол, не волнуйтесь — их перереформатированием мы, материковые, уже активно занимаемся.

В конце письма стояли подпись и печать человека, рекомендации которого на Большой земле уже несколько лет приравнивались к приказам. Но откуда лесному мэру было знать, что приказам-то. Он ведь вышел не из верноподданнических нулевых, а из самостийных 90-х, в которых вертикаль власти валялась пьяной по горизонтали и политического веса не имела. В общем, градоначальник по старой памяти рассудил, что мало ли что они там, наверху, решили, а нам, таежникам, следует продолжать жить своим умом и резких движений не делать, тем более что кардинальные преобразования неминуемо приведут к дестабилизации ситуации в городе.

И мэр принял соломоново решение. Он не стал убирать из программы военные дисциплины и даже не сократил часы на их изучение. Градоначальник просто добавил время на занятия по «мирным» предметам (это было сделано за счет увеличения и без того длинного учебного дня до полуночи).

— Сон для слабаков, не кисейных барышень готовим, — мысленно успокаивал себя градоначальник, когда урезал шестичасовую, надо полагать, летаргию до ньютоновских четырех часов. — Скажите спасибо, что я не поклонник Томаса Джефферсона. Тот, говорят, спал не более двух часов в сутки, и ничего... Итак, подъем в 05:00. С шести утра и до полуночи — непрерывная учеба или работа, после чего час на подготовку к завтрашнему дню и отбой. Личное время после 20:00, соответственно, отменяется. Ничего личного — учебно-производственная необходимость. Отдых — смена деятельности. Завтрак, обед, ужин — на ходу, как в развитых странах.

И все же на один кардинальный шаг мэр пошел, чтобы хотя бы формально выполнить спущенные сверху рекомендации. Утро (с 06:00 до 09:00), когда курсанты еще наполовину спят, и вечер (с 18:00 до 00:00), когда они уже порядком устают, были отданы на откуп военным преподавателям. Гражданским же педагогам выделили отрезок с 09:00 до 18:00 — лучшее время для подачи и восприятия информации. Естественно, «ястребы» сразу заявили о явной дискриминации. И им было плевать, что в новом расписании на милитаризацию города отведено ровно столько же времени, сколько и на демилитаризацию — девять часов в сутки. По тайге прокатились митинги и манифестации.

— Измена! — кричали «ястребы». — В Кремле — предатели! Сдали страну, теперь и нас хотят!

— Если б измена, нас бы уже разбомбили с воздуха! — отвечали им «голуби». — В Кремле — патриоты! Отстояли страну, надо слушать их!

— Один черт — ситуация нестабильная, все может в момент измениться! — не сдавались «ястребы». — Продолжаем точить мечи!

— Все будет нормально, паникеры! — успокаивали товарищей «голуби». — Даешь перековку мечей на орала!

Страсти бушевали две недели, но до драки дело не дошло, так как город населяли умные и интеллигентные люди, которые прекрасно понимали, к чему может привести революция на затерянном во времени и пространстве космическом корабле. Баталии на улицах и площадях перекинулись в учебные классы и аудитории. Развернулась нешуточная борьба за умы и сердца юношей. Преподаватели удесятирили энергию на занятиях. И тут часто доходило до смешного. Какой-нибудь ученый-астроном, будучи ярым «ястребом» по убеждениям, так вдохновенно рассказывал о Млечном Пути, что даже до беспамятства влюбленные в ратное дело курсанты начинали мечтать совсем не о тех звездах, что прикручивают к погонам и вешают на грудь.

Не будет преувеличением сказать, что город переживал необычайный взлет военной, научной, культурной, общественно-политической и религиозно-философской мысли. Самолетные нагрузки по учебным дисциплинам, светившие выходом в небо, сменились ракетными перегрузками, за которыми темнел уже космос. Разговоры на бытовые и личные темы, процент которых в тайге и так всегда был низким (в переводе на выборы в Госдуму непроходным), окончательно и бесповоротно сошли на нет. Речи о глобальном и высоком целиком и полностью вытеснили внесистемный оппозиционный треп навроде «как бы пожрать, соснуть, погулять».

Юноши рвались в бой. Они горели, и местами так даже опасно: не как олимпийский огонь, Жанна д'Арк или Джордано Бруно — как бараки с пионерами, Хиросима и Нагасаки. Что удивительно — десять тысяч (без многого, потери) семнадцатилетних максималистов, загруженных учебой и работой от восхода до заката, как-то даже умудрялись возводить БАМы и Беломорканалы. По ночам, а когда еще? И пусть строительство сих замков велось исключительно во сне, пусть они разрушались с пробуждением, пусть от мальчишеских проектов содрогалась любящая точность в расчетах архитектура, зато каждую следующую ночь на руинах вновь появлялись рабочие с кирпичами из воздуха, готовые начать все с фундамента.

После перезагрузки в образовательном процессе юноши увидели, что главным делом жизни может быть не только война. Они с дымком, как пиво, открывали для себя мир — гуманитарный, естественно-научный и просто. Ну, не то чтобы прямо впервые, а по-новому, что ли. Откуда ни возьмись явились физики и лирики. Какие-то пииты рифмовали родину со смородиной. Какие-то художники срисовывали воду с картин Айвазовского, а химики смешивали одни вещества с другими, чтобы получить третьи.

Мушкетерский дух проснулся в юношестве. Короче, дрались. Дуэли на кулаках, ножах, нунчаках, пистолетах, автоматах, гранатометах, гаубицах, БТРах и других вооружениях и техниках стали обычным делом. И если б из-за женщин! Нет, все из-за какой-нибудь ерунды типа балканского вопроса. Сербь были бы удивлены, узнав, что где-то в русской глубинке Ваня Махотин вызвал и застрелил Алешу Куравлева за один лишь намек на то, что в 1999-м Слободан дал слабину. Один принял смерть, другой получил год таежной тюрьмы за Милошевича — как мило. Честь была в чести. Дуэли, как и в девятнадцатом веке, официально запрещались, но негласно одобрялись.

Вот такие они были, наши сиротки. Средний воспитанник дремучего леса представлял собой гремучую смесь из французского философа-вольтерьянца со всей его просвещенностью и свободомыслием и греческого воина-спартанца, долг которого был неразрывно связан с дисциплиной, слепым подчинением приказу и подавлением творческого начала. Воистину — метисы духа. По-детски наивные, по-библейски мудрые, по-нижнетагильски суровые — это были настоящие рыцари печальных и других образов и подобий. В тайге возвращали сверхлюдей, которые в перспективе за срыв какой-нибудь посевной будут готовы пустить себе пулю в лоб и проследовать в ад за суицид.

В городе действовало множество тайных обществ самого разного толка. Собирались молодые люди в основном после отбоя. Казалось бы, некоторым объединением (например, «Клубу почитателей Уильяма Шекспира») совсем необязательно было скрываться от таежной полиции. Однако курсанты прятались, и еще как. О причинах ухода в литературные катакомбы расскажем чуть позже, пока же заметим только, что запрещенная поэзия действовала на ее поклонников, как мат на ребенка: запоминалась сразу и навсегда. И впрямь, не пропагандируй, а поставь Шекспира вне закона, и через год последний сапожник станет крыть подмастерьев цитатами из его трагедий.

Были, если так можно сказать, и классические тайные общества, недовольные не то чтобы там мэром, городским устройством или местной конституцией (все это имелось), а так — несовершенством вселенной. Недовольство выражалось не в подготовке переворота, а в дерзновенных мечтах, осуществить которые подпольщики намеревались после окончания лесного курса.

Только лишь спасение России наглецов не устраивало. Они жаждали осчастливить весь мир, но сначала, конечно, третий. Тщательно изучались языки, обычаи, традиции, история, религиозные верования и социально-экономическое положение африканских и азиатских стран. В городе то и дело можно было встретить закручинившегося юношу, рвавшего себе сердце из-за того, что ему никак не дается ни северный, ни восточный, ни хоть южный (и кто решил, что он проще?) выговор языка урду. «У меня акцент, у меня акцент», — горевал курсант приблизительно так же, как попавшийся на коррупции федеральный чиновник (в смысле не посадят, конечно, но приятно все же мало). Что касается языков международных и метивших в таковые, тот тут и говорить не о чем. Ими, конечно, к семнадцати годам курсанты овладели в совершенстве, и никто из них этим не кичился, не мечтал заполучить в будущем тепленькое место переводчика, дипломата или консультанта в корпорации. Языки изучали не карьеры ради, как это нередко делалось в России, а коммуникаций для, как это было принято в Европе.

За инъязыми не забывался и русский. Несколько лет в тайге говорили даже не на правильном, а на модельном (90—60—90) языке, который накладывает массу ограничений на его носителя. Когда же спохватились (слава богу, быстро), что красота — сила далеко не глянцева, а страшная, — ввели факультативы по мату, жаргону, канцелярщине и другим речевым уродствам.

Это все прекрасно, заметят читатели, но уж какая страница проносится перед нашими глазами со скоростью, за которую тормозят и выписывают штрафы (смею надеяться, что так), а мы до сих пор не имеем подробного городского плана. Мол, в начале книги он нарисован лишь в общих чертах, да и то такими мазками, которые сойдут разве что для анализа на флору. Даже не знаю, что на это ответить. Можно, конечно, сказать правду. Ну, что забыл там, увлекся и т. д.

Но это не мой вариант. Мой вариант — найти себе оправдание. Притом такое, чтобы устраивало и читателя, и меня. И я таки нашел. Но далеко не сразу. На

поиски реальной отмазки ушло целое 13 августа, а это — на секундочку — день рождения моего друга Саньки Зуденко. Пацану тридцатка стукнула, а я не только не пришел к нему — даже позвонить не соизволил. Санька, впрочем, не обиделся, так как я его сто раз от смерти спасал. Правда, только в мечтах. Но он мне сам как-то сказал, что сто раз в мечтах приравнивается к одному разу в реале. И не поспоришь ведь. Санька же эмэээсник, шарит в спасении поболее моего. Он настоящий профессионал своего дела, ни грамма в нем от любителя, и это, если честно, напрягает. Однажды я даже не выдержал, когда он кого-то в очередной раз спас. Прорвало меня, короче, как трубу с нечистотами.

— Гребаный ты герой! — говорю. — Ты ж людей спасаешь, как смеситель меняешь, как плитку кладешь, как овощами на базаре торгуешь! Ты ж как сыщики Скотланд-Ярда! Они профи, и ты профи, но книга Конан Дойла, если что — о любителе Холмсе! А знаешь, почему? Потому что Холмс не превращал расследование убийств в работу. Вся эта возня с собакой Баскервилей — это ж просто хобби, чтоб ты знал. Просто увлечение! Ну, как литра для меня. Вот скажи, ты хоть раз слышал, чтоб я отрекомендовался писателем? Никогда! Я кто угодно, но не литератор! Если люди, не дай бог, узнают, что сочинительство — главное дело моей жизни, что я могу сутками пыхтеть над предложением, вытачивать его, как деталь, что от абзаца до абзаца не минута, а неделя непрерывной работы, то все — мне конец. Я автоматически становлюсь не любителем, а профессионалом. Это два полюса, понимаешь? Если ты любитель, то твоей творческой удачей все восхитятся. А коли профи ты, то на фанфары можешь не рассчитывать, потому что удача твоя — это нечто само собой разумеющееся, работа твоя, как говорится. В случае неудачи то же самое. Любителя слегка пожурят, профессионала разнесут в пух и прах. Поэтому все должны думать, что я не пишу, а пописываю, что кропание романов — это типа похода в тренажерный зал после трудового дня. Ну, для поддержания формы, только не физической, а интеллектуальной. А ты у меня что творишь?! Нормальные люди по утрам шлепают в офисы, а ты — спасать людей! Ты ж подвиг в профессию превратил! В обыденность! В рутину! Ты обесценил героизм — так и знай! Ты же даже погибнуть за людей не способен, потому что настоящий спец, всегда найдешь, как ребенка из огня вытащить и самому не сгореть!

Помню, Санька на это ничего не ответил. Улыбнулся только. Иной раз думаю, как один и тот же человек может жульничать в карты, не отдавать долги годами, доводить жену до белого каления и в то же время без раздумий бросаться в пекло, когда малыш говорит ему: «Дядя, в доме еще Ниф-Ниф». Морской, надо полагать, боровак, если пожар не в частном секторе, конечно.

Ну да отвлекся я. Вернемся к отмазке. Думал я, короче, думал и придумал, что братья за детальное описание населенного пункта можно только тогда, когда он уже намолен, как храм. А для этого, как минимум, нужно, чтобы названия улиц, площадей, парков, скверов, учреждений и чего там еще были десятки тысяч раз произнесены на радостях и в горе, как молитвы перед иконами. Вот тогда город — город, а не один смех и много построек. За двенадцать лет таежные жители выполнили необходимое условие, а потому — к делу.

6

Итак, как солнечные лучи, тянулись из городского центра к окраинам бесчисленные улицы, окрещенные в честь героев, городов, памятных дат, научных, культурных и небесных светил, ягод, злаков, овощей и фруктов. Помимо привычных

названий, можно здесь было встретить и курсанта с тупика имени предателя Иуды Искариота, и перекресток, на котором встречались боярыня и Павлик Морозовы.

— Откуда ты? — к примеру, спрашивал один мальчик другого.

— Улицы Проигранной Русско-Японской Войны, — бесстрастно отвечал тот, как и полагается человеку, который, как учили, принимает историю такой, как есть.

— А дом?

— Шестнадцать пишем, «Варяг» на ум пошел.

На Лобной площади в центре города располагалось здание таежной администрации в пять этажей. Автор не силен в архитектуре, но давайте оно будет в стиле рококо — пусть хоть что-то звучит кокетливо и игриво в пику трудной и опасной жизни в тайге. Рядом с Серым домом соседствовала библиотека, которую мы уже описали ранее. Напомним только, что этой громадиной можно было накрыть здание администрации, как мальчишка накрывает ладонью зазевавшегося в траве кузнечика.

На Лобной же площади стоял и стадион-амфитеатр, на котором проводились спортивные соревнования и гладиаторские бои на деревянном оружии. Он имел форму лежащего на земле кокоса со срезанным верхом, вмещал три тысячи зрителей и звался Колизеем. Именно здесь дурные и избыточные силы, а потом и первые поклевки силы мужской переплавлялись в пот и кровь. От рева трибун во время крупных состязаний в стволах окрестных кедров стыл сок, а медведи — эти, казалось бы, полновластные хозяева тайги — начинали ощущать себя нашкодившими британскими монархами на ковре у разъяренного парламента. По волнам, запускаемым на трибунах после финалов, словно струги, плыли победители турниров, периодически утопая в объятиях болельщиков.

Имена героев-атлетов золотыми буквами вписывались в историю молодой таежной республики. Нет-нет да и вспомнят в каком-нибудь тереме-коттедже, к примеру, о спринтере Диме Дранишникове и почетном четвертом месте (вывихнувший ногу юноша продолжил бег на руках и, судя по всему, не сильно-то припозднился на финише). Или о левше Иване Басаргине, который однажды взмахнул направо — улица Пушкина, налево — переулочек Менделеева (к слову, оглоблю местного Муромца покрыли олифой и поместили в музей боевой славы).

А футбольный нападающий Бубнов по кличке Пушка! Как всякое уважающее себя арторудие, он не носился по полю почем зря, а дожидался, когда его обслуга заработает штрафной. «Заряжай!» — командовал Пушка, и один из его товарищей устанавливал мяч. «Наводи!» — приказывал Пушка, и к нему подбегал кто-нибудь из футболистов, чтобы шепнуть, куда бить. «Командуй!» — окликал Пушка капитана и, услышав «Огонь!», без разбега бил по мячу. Откатившись немного, как и полагается арторудию после выстрела, Бубнов наблюдал за полетом ядра. Выставленная голкипером стенка закрывала паховые области, глаза и слушала трибуны. И горе тому пролету, который слышал: «Носилки!» В этом случае исход был один: прошитый снарядом футболист вылетал из стенки и на пару недель становился тяжелоатлетом, толкавшим слонов, коней и ладей в больничной палате. После столкновения с препятствием траектория полета мяча отнюдь не менялась, и наступало последнее в матче, а то и голкиперской карьере испытание для вратаря. Распластавшись в кошачьем прыжке, он стабильно ломал руку о ядро, которое пусть и на первой автомобильной скорости, но влетало-таки в сетку и секунды две трепыхалось в ней, как пескарь в неводе.

Тут же, в центре города, стояло здание госпиталя. Два его отделения — хирургическое и травматологическое — всегда были переполнены, потому что мальчишки всегда мальчишки. Их детство и юность немислимы без синяков, ссадин, переломов и ран. По числу шрамов таежные курсанты в разы превосходили своих

ровесников на Большой земле. В первые годы учителя и воспитатели просто физически не успевали уследить за расплозавшимися, как мураши, мальшами, да особо и не стремились это делать — мужчины есть мужчины. Нехватка рук у взрослых быстро привела к нехватке рук или их частей у некоторых детей (слава богу, хоть не ног или обоих глаз). Однако калекам не давали почувствовать свою ущербность. Их не только не освобождали от каких бы то ни было занятий, а назначали командирами. Карьерный рост начинался с простого ритуала — замены солдатского атрибута на офицерский. Автомата, из которого мальчик уже не мог точно стрелять, на пистолет. В тайге не здоровые заботились об увечном, а наоборот. Железное правило гласило: не уберег себя — сбереги хотя бы других. В этом видели гуманность мужчины без женщин.

За госпиталем высились стены местной Бастилии — десятиметровый частокол с заостренными на конце бревнами, чтобы беглецы (если таковые, конечно, появлялись), как кукушки, оставляли наверху свои яйца воронам, сорокам, ястребам и другим птицам.

Режим в остроге был жестокий и полосатый, как уссурийский тигр. Сидели заключенные в одиночных камерах. Общались преимущественно с видными государственными, общественными и религиозными деятелями всех времен и народов. Этот факт не вызывал опасений у надзирателей, так как они имели дело не с обычными, наломавшими дров людьми, а с железными дровосеками, психика которых была устойчивей мостовых быков. С теми, кто в качестве дуэльного оружия выбирал танк. С теми, кто с целью помощи раненому зайчонку оставлял боевые позиции, обрекая товарищей на условную смерть. С теми, кто ради встречи с Россией решался на такой побег с погоней, по сравнению с которым шоушенковский казался игрой в казаки-разбойники. С теми, кто шел в отказ, когда ставилась задача поднять Германию из руин после окончания Второй мировой, и плевать, что не на деле, а всего лишь на словах в реферате. Какие воры, убийцы, мошенники?! В таежном остроге сидела голубая разбойничья кровь, белобандитская кость, которую воспевали в местных былинах у походных костров.

Четыре высших школы находились в разных концах города. Сверху они напоминали буквы «Н». Стоит ли говорить о программах, по которым занимались ребята, если девятиклассника секли не за то, что не знал ницшеанства, а за то, что знать его не желал. Нередко во время таких порок обливалось кровью не только тело курсанта, но и сердце преподавателя.

— Сынок, отступись, — говорил учитель. — Мы должны знать зло в харю, чтобы успешно противостоять ему.

— Секите, секите — Ницше же хуже, — отвечал курсант. — Теперь имею к нему еще и личную неприязнь.

— Надеюсь, она меньше идейной? — спрашивал педагог.

— Не мерил!

— И все-таки возьми рулетку, сынок.

— Меньше, да живучей!

— Ловко... Но в данных обстоятельствах это скорее идет в кредит, чем в дебет. Сутки карцера!

— И все-таки она вертится!

— Да что вы говорите, — качал головой опричник и, добавив еще двое суток за пафос, отмечал про себя, что из парня, пожалуй, выйдет толк.

Уроки-лекции по многим предметам были шедеврами ораторского искусства. Нередко занятия проводились на свежем воздухе, как в Элладе, и начинались, допустим, в восемь часов утра, а заканчивались в районе десятого — но уже киломе-

тра к северо-западу или, там, юго-востоку от школы. По возможности записи велись прямо на ходу в так называемых бортжурналах, под которые подкладывались доски. За врачебные почерки (не путать с ошибками) курсантов не гоняли — клавиатуры на компьютерах-тренажерах, которыми оснастили школы, выравнивали любые каракули. Откровенно отстающих по предметам не было — лишь на прогулках, когда, к примеру, несколько огольцов разявят рот на белку или, там, малину, а потом догоняют товарищей не по геометрии, а по лесу. Даже от занудной физики (личное) как будто не несло, а веяло. Фрукт, упавший на плешь Ньюто́ну и приведший к открытию земного притяжения, в устах одного из преподавателей-славянофилов был не просто яблоком, а чудо-антоновкой. А правило буравчика рассказывалось не на словах, а показывалось на деле при помощи бура, сверлившего ледяной панцирь озера.

А как курсанты читали! Это были натуральные библиозапой. К 2007 году литалкашей развелось так много, что это перешло всякие границы, и зависимым начали приводить в пример читающих исключительно по праздникам (к несчастью для администрации, бесчисленным в России) и семнадцать литературных трезвенников, которые ставили в один ряд Устинцеву и Толстого — пусть и только на полке.

Книги превратились в семиколенный бич города, но случилось это далеко не сразу. Сначала чтение от сих до сих и пересказ близко к тексту являлись едва ли не самым суровым наказанием. И это не удивительно. При первой пробе спиртного, как мы помним, возникает закономерное отторжение. Но постепенно мальчики, что называется, пристрастились. На первых порах они тупо бухали (от немецкого слова «Buch», книга). Затем у них появились и особые предпочтения. Одни подсели на художественную литературу, другие — на научно-популярную, третьи — на техническую и т. д., как на Большой земле подсаживаются на различные виды спиртного.

Чтобы любимые напитки не приедались, курсанты то и дело смешивали их. Получаемые в результате коктейли дарили массу ярких впечатлений. Но так бывало не всегда. В погоне за эстетическим наслаждением доходило, извините, и до рвоты, когда, положим, курсант с естественно-научным складом ума не соблюдает пропорции и к четверти Эйнштейна подольет три четверти Хемингуэя.

Что касается похмелья, то нормы не знали, поэтому болели страшно. То переберут со Спенсером, то, как вино пятисотлетней выдержки со вчерашним пивком, смешают Сервантеса с Донсковой, то нахлебаются сивухи под названием «Майн кампф».

И все бы ничего, если бы курсанты как начали, так и продолжали читать в кругу товарищей и специально отведенных для этого местах, как то библиотека или классы. Ни черта! Довольно быстро тысячи таежных воспитанников познакомились с самой последней стадией литературного пьянства — когда не ищешь компанию, а вбисаешь сам на сам при любом удобном и неудобном случае. Читателей-одиночек можно было застать на улицах, крышах, деревьях, в туалетах — короче, в самых разных местах.

Это переполнило чашу терпения администрации, и она ввела запрет на чтение в неурочные часы. Книги прекратили давать на руки. По-тюремному короткие свидания с ними стали проходить под присмотром старших товарищей. Чтобы чего худого не вышло, об уединении с какой-нибудь (с огнем играю) Мариной Цветаевой не могло быть ни прямой, ни даже косвенной речи.

Полусухой закон вынудил библиофилов уйти в подполье. Их начали преследовать — если не как первых христиан, то как распоследних стилиг точно. Гонения только усилили интерес к литературе и спровоцировали не виданное по масштабам воровство книг. Их тащили из библиотеки и классов целыми коробками, но не картонными, что являлось бы преступлением, а черепными — прочитанное запомина-

лось наизусть. Работали курсанты поодиночке или бригадами — в зависимости от объема текста. Далее выученное печатными буквами переносилось на бумагу и скрытно распространялось среди товарищей...

7

Однако наш знакомый Огрызкин угодил в карцер отнюдь не за томик Диккенса или статью Сахарова. Читал он по таежным меркам мало. О чем тут говорить, если парень даже не мог отличить раннего Мопассана от позднего.

Юноша умудрился пострадать за девушку. В тех условиях, в которых жил Огрызкин, это было так же странно, как если бы здравомыслящий россиянин предпочел новое отечественное авто подержанной иномарке. Курсанты никогда не видели представителей прекрасного пола ни в жизни, ни на фото, ни на картинах, нигде.

Еще до заброски мальчиков в сибирские дебри целая армия цензоров потрудилась над тем, чтобы женский род не попался на глаза мужскому до закрытия лесного университета — ничто не должно было возбуждать умы и сердца насельников тайги, кроме великих целей и идей. И если литература после прохода через фильтр не понесла серьезных потерь, так как вполне могла обойтись без иллюстраций (закрасили даже Бабу Ягу), то живопись, фотография, скульптура, киноискусство после гендерных зачисток оказались в положении разбитых под Сталинградом немцев — да, здорово потрепанных, но, надо сказать, все еще сильных, все еще способных разогнуть любую железную дугу, кроме разве что Курской. В общем, пусть читатели судят сами, насколько цензоры обескровили, допустим, фильм «Любовь и голуби», если от него остался лишь сценарий, по которому — ну так, между прочим — курсанты поставили блистательный спектакль, собиравший аншлаги на протяжении двух лет.

Кое-где женщин все же оставили. Скажем, вообще не пострадала музыка. Как справедливо заметил один из экспертов, это ведь только дамы любят ушами, на кавалеров же сия особенность совсем не распространяется, а посему Мадонна на аудионосителе так же безопасна, как секс с презервативом. Не тронули, к примеру, и работы художников-авангардистов, в которых, по мнению специалистов, даже изображение самой Мэрилин Монро едва ли могло нести хоть какую-то угрозу.

Словом, таежным Маугли оставалось только догадываться, как выглядят женщины. В книгах мужчины кружились вокруг этих непонятных созданий, как планеты вокруг Солнца. Что бы ни случилось, великое или низкое, надо было по неписанному французскому закону «*Cherchez la femme*» тотчас подавать платяное существо в розыск вне зависимости от того, пропало оно или нет.

Курсанты отмечали про себя, что мужчины из романов боготворили любимых женщин ровно так, как в таежном городе — Родину. Эта параллель казалась лесным братьям такой же естественной, как шоферу — двойная сплошная. Описанные в книгах сложные взаимоотношения полов многому научили курсантов. Они начали понимать, что любовь часто бывает невзаимной, что Россия, как и любая другая женщина, вполне способна принять, отвергнуть, предать, вознести и растоптать своих ухажеров. Что ее нужно добиваться, не обещая, а насыпая золотые горы, но и это не гарантирует стопроцентного результата. Добившись расположения Отчизны, нужно быть готовым к тому, что она в любой момент может как послать тебя ко всем чертям (традиционная эмиграция на запад), так и оставить подле себя в качестве друга, которого будет призывать в лихую годину, чтобы потом опять отфутболить. Так же стали ребята понимать, что Россия, как и всякая женщина, зача-

стью живет не умом — эмоциями, а иначе как объяснить ее постоянные, из века в век, замужества на харизматичных плохих парнях (этих она трепещет) или слабосильных, умных мужчинках (этих жалеет), которые втаптывают ее в грязь и ни в грош не ставят. И это нормально. И это все надо принять, как на грудь в праздник. Ну да мы отвлеклись...

...Стоял июль. Огрызкин отбывал наказание сразу за родным, примыкавшим к тайге огородом. Летний карцер, в который посадили нарушителя, находился на два с половиной метра ниже уровня леса и представлял собой забетонированную прямоугольную яму размером с теннисный стол. Вместо потолка над головой у Огрызкина была чугунная решетка. Через нее охламон вся тайги беседовал с росшими рядом исполинскими кедрами. Огрызкин находился среди своих — макушки деревьев были усыпаны шишками, как лбы заядлых хулиганов и драчунов.

— Еще бы до передачек дозрели, и вообще цены бы вам не было, — говорил кедром сиделец. — Добрый нынче орех.

В первый же день Огрызкин отказался от приема пищи в знак протеста, так как никакой вины за собой не чувствовал. Уговаривать его никто не стал. Более того — парню едва не накинули еще трое суток к семи заявленным с формулировкой «За членовредительство».

— Как же это? — запротестовал арестант, так как запахло пропуском полуфинала по американскому футболу между «Гулливерами» с Осеннего конца и «Конкистадорами» с Зимнего. — Добровольный, осознанный голод не имеет ничего общего с членовредительством. Напротив, способствует выведению шлаков из организма, духовному просветлению, а если вспомнить о Большой земле — то и восстановлению социальной справедливости: росту зарплат и пособий. Да что мы — сам Христос удалился в пустыню и сорок дней постился. Причем капитально, а не «мясное нельзя, гречку можно», как нынче. «Не хлебом единым» — это ж все оттуда, из Сахары пошло.

В этом месте брови лесной охраны поползли вверх, и Огрызкин, догадавшись, что сморозил географическую глупость, поспешил реабилитироваться:

— Кстати, а почему бы и не из Сахары? Насколько я помню, точное место Иисова искуса в Евангелии не указано. Думаю, Христос будет совсем не против, если мы Его в Сахару поместим. Не корысти же ради, озеленения пустыни для. Паломничество ведь начнется, а современному пилигриму сады подавай, гостиницы минимум с погонами старлея. Несколько лет — и Сахара превратится в эдем. Пляжи уже, кстати, есть. Солнца тоже хоть отбавляй — дело за малым, значит. Согласен, всю пустыню облагородить не сможем. Да и не надо! Часть площадей предлагаю оставить под огненную геенну — ну, для сатанистов. Пустыня — это ведь едва ли не единственное место, где их главком материализовался. Будет сатанистам ад на земле, как заказывали — с ожогами первой степени, сушняком и скрежетом песка на зубах. Потянутся в пустыню как миленькие. С большой деньгой. Среди безбожников ведь немало зажиточных тузов, как известно.

А бедуинов сделаем гидами, пусть проводят экскурсии. Вот вам, пожалуйста, место, где Спаситель, будучи верным Сыном своего Отца и противником дешевых метаморфоз, наотрез отказался превращать камни в хлебы. А теперь пройдемте к скале, с которой дьявол безуспешно подначивал Христа сигануть вниз. Это для христиан. Для сатанистов другой текст состряпаем. Вот вам, пожалуйста, место, где черные, как гудрон, силы не побоялись подступить к Иисусу из Назарета и хоть и продули сражение, но не проиграли войну. А сейчас милости просим к скале, где сонм ангелов, приставленный к Спасителю в качестве парашютов, остался без работы.

Как раскрутимся, поставим фабрики по производству сувениров. Ну как сувениров — тары под них. Песок продавать будем. Это же тот самый песок, который запарошил глаза, забил легкие, испортил маникюр, испачкал воротничок лукавому. Или песок, который осыпался с бархана в двухстах пятидесяти семи метрах от места контрольного искушения Христа. Так со временем вывезем и распределим Сахару по всему миру.

Нет, нет — волонтеров к благоустройству пустыни привлекать не будем, у них других дел по горло, голодных африканских детей никто не отменял! — гневно, на одном дыхании выпалил узник, как будто кто-то действительно заикнулся о наборе добровольцев и сытости негрятят. — Инфраструктуру, инвестиции повесим на бизнес, барышами от туризма его прельстим. Пусть порадеет на религиозной ниве.

В перспективе жду конкурента в лице Синайской пустыни, не без этого. Спасибо Моисею — удружил. Это ж надо — сорок лет евреев по пескам таскал. Против наших сорока дней-то. О, я уже знаю, чем возьмут клиента семиты. «Это мы придумали „все включено“ на заре человечества», — заявят они и сунут паломникам Библию, где черным по белому про манну и рябчиков от Создателя. Дальше — хуже. Воспарят над Синаем вертушки и распылят над головами халяву, реконструируя события до нашей эры.

Вольная трактовка Библии подействовала на слушателей, как щекотка. Распавшегося богохульника хотели, но не могли заткнуть, так как он перебирал ребра, как гармонист клавиши. Не применив ни одного борцовского приема, Огрызкин повалил тюремщиков у себя над головой, скрючил их и заставил кататься по земле со сложенными на животе руками.

— С... ты сын, — кое-как совладав с собой, сказал один из обессилевших от смеха надзирателей.

— Ага, месячным мамка бросила, — подтвердил Огрызкин.

В общем, срок парню оставили прежним: семь суток и без еды, раз уж он так настаивал на очищении физического и эфирного тела.

— Воду хоть носите, — попросил узник.

— Циклон принесет.

— Какой циклон — ведро стоит!

— Это поправимо, — ответили арестанту и забрали у него нужник — единственное, что было в карцере из обстановки.

Посмеявшись над собственной шуткой, Петросяны ушли — охрана возле огородных карцеров, запиравшихся на амбарные замки, не выставлялась. Без публики Огрызкин снова стал серьезнейшим человеком, как всякий выдающийся клоун. Еще в раннем детстве в балаганном паяце угадывался будущий королевский шут. Шли годы, способности Огрызкина развивались и совершенствовались, и теперь все признаки указывали на то, что через пару-тройку лет развлекательный юморист в нем уступит место хлесткому сатирику, как мальчишка освобождает место для старика в общественном транспорте.

На третий день ареста, часов в пять вечера, поднялся холодный ветер и пригнал дождь с градом. Укрыться Огрызкину было негде. Решетчатый потолок над его головой мог, как сито, задержать только крупные предметы, но не воду, не ледышки сливового калибра. Пока небо пристреливалось первыми градинами, Огрызкин пытался увертываться и даже нашел в этом развлечение. Жаловаться на реакцию не приходилось — поклон восточным единоборствам, которыми с детства занимались курсанты. Но и сто сильнейших самураев — пыль перед тщедушным пулеметчиком. Когда тучи пристрелялись (а это случилось довольно скоро) и обрушились на землю водно-ледовый шквал, Огрызкин сел в угол, подогнул колени к подбо-

родку и обхватил голову руками. Чего греха таить — для сибиряка-таежника это была далеко не геройская поза, ни черта не Болконский под ядрами.

— Да он же испугался и распустил нюни, — сразу сказали бы те, кто с одним лишь мороженым наперевес хаживал на медведей, львов, тигров и других хищников, кои на пару с травоядными в избытке водятся, например, в районе Большой Грузинской, 1 в Москве или Тимирязева, 71/1 в Новосибирске.

В отличие от жителей Большой земли, таежные курсанты как-то опасались ходить на того же медведя без той же рогатины, словом, были, как говорится, сами хороши в плане храбрости, поэтому и Огрызкина не стали бы с ходу обвинять в слабости. Они спустились бы в карцер для оценки обстановки, и уже через минуту у них бы не осталось никаких сомнений в том, что в холоде и мокроте парень ведет борьбу за живучесть, что, сжавшись в комок, он пытается максимально уменьшить теплоотдачу организма и снизить вероятность попадания ледяной картечи по голове. Это же было ясно как день.

Положение арестанта усложнялось с каждой минутой. Если бы карцер не вырыли у подножия горы, если бы прямо к решетке над ямой не вели сверху три тропинки, которые во время проливных дождей превращались в ручьи, то ситуация не была бы столь катастрофичной. Но тайга, как и история, не знает сослагательных наклонений. Вода в яму набиралась быстро. Через полчаса ливень усилился настолько, что стало трудно дышать. Огрызкин никогда не стоял под Ниагарским водопадом, но решил, что в будущем экскурсию на него, если придется путешествовать, он, по всей видимости, пропустит, сославшись на то, что однажды он — спасибо — его уже видел и впечатления еще не стерлись из его памяти настолько, чтобы нуждаться в освежении. Посидев пять минут на кислородном голоде, парень убрал ладони с лысого (а-ля summer) черепа и выстроил из них крышу для носа. Легкие тотчас почувствовали облегчение, но закружилась голова — давайте по причине резкого притока воздуха, а не потому, что градины дорвались-таки до ума палаты и на радостях пробили ее в нескольких местах.

Прошел час, и наш герой отметил, что перестал быть сухопутной крысой. Явился миру даже не матрос крейсера. Берите ниже — матрос-подводник. И все же от того, что заполнялся не карцер, а отсек субмарины, Огрызкину было не легче. Но на помощь он, конечно, звать не стал. Еще чего. Чай, не Всемирный потоп.

Парень решил спасаться самостоятельно. Первым долгом он откачал из карцера столько воды, сколько мог. А именно припал к подножному озеру губами, как корова, и за один присест выдул аж пять литров (кто скажет, что в данных обстоятельствах всего пять, пусть попробует выпить залпом хотя бы три — в любых обстоятельствах).

Нет, это все понятно, что со стороны действия Огрызкина выглядели неадекватно. Но только не для тех, кто прошел суровую жизненную школу и знал, что в борьбе за жизнь мелочей не бывает и нужно пытаться сделать бревно даже из соломинки для утопающего. Да, часть выпитой парнем жидкости потом вернулась на исходную, но ведь только часть и лишь через час. В общем, выигрыш в объеме и по времени пусть и мизерный, но все-таки был. С градинами было проще, чем с водой. Огрызкин стал набирать их в руки и выбрасывать наружу через решетку наверху. Земля вокруг карцера обкладывалась льдом, как шампанское.

Сколько бушевала стихия — один Бог знает. Но только когда упали последние капли, Огрызкин стоял в воде по бороду. Это если бы ему скомандовали «вольно». А кабы гаркнули кремлевское «Смирно!», подразумевающее не только вытягивание тела, но и взлет подбородка ввысь, — так и вовсе по горло.

— Карцер наполовину пуст, — подытожила оптимистичная амфибия и отметила это дело пингвиньим нырком вглубь.

К своему новому положению Огрызкин отнесся спокойно. Паникеры в тайге не водились. Им был не климат. В критических ситуациях серьезных курсантов никогда не покидало присутствие духа, а веселых, к каковым относился Огрызкин, — чувство юмора.

«Благо ливень закончился, а то бы завтра над водой остались только мои ноздри; они бы торчали из решетки, как розеточное гнездо, и кто-нибудь обязательно сунул в них пальцы, чтобы проверить, шарахну я или нет», — подумал Ихтиандр и бухнулся на водный матрас с намерением соснуть.

Однако сон не шел. Нет, Огрызкин вовсе не боялся захлебнуться. Парень мог спать в любом месте и положении. Однажды в дозоре наш герой прикорнул на дереве, но надо отдать ему должное — бдительность во сне не потерял. При первом подозрительном звуке он уже был на земле и само внимание.

— Че спрыгнул? — тихо спустившись к Огрызкину, шепотом спросил тогда напарник.

— Да так — ерунда, — был ответ.

— Как же ерунда — я хруст слышал.

— Померещилось тебе.

— А с рукой че?

— Ниче.

— Как ниче?.. Кость вон торчит.

— А-а, это-то, — посмотрев на руку, как на досадного комара, сказал Огрызкин. —

Это просто кость вылезла.

— Как это просто вылезла?

— Как из норки, наверно, — предположил Огрызкин и, подмигнув, закончил: — При разделке.

— Какая норка?! Какая разделка?! — прошипел напарник. — Ты уснул в дозоре и упал!

— Недоказуемо.

— Скажи еще, что неудачно спрыгнул.

— Именно.

— Эх, Огрызкин, Огрызкин... Что говорить-то будем?

— Правду, брат, — сказал пройдоха. — Ты ж не видел, как я уснул, — верно? И я не видел, как я уснул. Если б я видел, как я уснул, то я бы сказал, что я уснул. Но я не видел. Значит, я что?

— Неудачно спрыгнул, сломал руку.

— И остался в строю, — многозначительно добавил Огрызкин и скомандовал: —

По местам!

— Сережа, тебе ж в госпиталь надо...

— Не спорь, курсант, — отрезала хитромудрая бестия, сварганившая героизм из залета. — Ты бы на моем месте поступил так же.

Словом, Огрызкин мог спать где угодно. Но сейчас он ворочался на водной глади с боку на бок и никак не мог отключиться. Виной тому были тревожные мысли, которые лезли ему в голову. При этом ни одна из них не касалась причины, по которой он загремел в карцер. Огрызкин совершил шалость, которая больше взбудоражила всех остальных, чем его самого. Уже на исходе первого дня в яме наш творческий парубок и думать забыл о дивчине, которую слепил из глины и выставил на всеобщее обозрение с табличкой «Афродита». О том, как выглядел скульптурный шедевр, достойный рук постинсультного Микеланджело, расскажем чуть позже. Пока же вернемся к треволнениям, которые не давали Огрызкину уснуть.

Во-первых, он боялся, что может неосознанно позвать на помощь во сне, так как был большой охотник до болтовни с Оле Лукойе. Парень знал, что за ним тайно следят и только и ждут, когда он подаст сигнал SOS, чтобы потом сказать: «Пако-стить-то ты горазд, а как отвечать — так спасите, помогите». Во-вторых, его беспокоили огороды и посевы. Огрызкин не сомневался, что град побил все овощи и злаки, а значит, сделал вывод арестант, городу до следующей осени придется сидеть на одном мясе. Клянусь, он так и подумал — на одном мясе.

Но все эти мысли о возможном проколе во сне и погубленном урожае были ничто по сравнению с беспокойными думами о Большой земле. Огрызкин переживал за курсантов. Он любил своих названных братьев и готов был при надобности сложить за них голову, но про себя называл товарищей идиотами, так как многие из них не умели обманывать, хитрить, изворачиваться, крутиться, прогибаться, лавировать. По мнению же Огрызкина, обладание низковатыми и подловатыми навыками являлось едва ли не главным условием для безболезненного и успешного вживания в Россию на микро- и макроуровне.

«Люди-то на Большой земле всякие, — размышлял Огрызкин, — и чтобы чувствовать, когда тебе, например, кто-нибудь из них врет, необходимо самому научиться лгать. Не по-крупному, конечно, — во спасение достаточно. Надо обязательно привить душе чуток мерзости, чтобы выработать иммунитет и на белковом уровне распознавать и уничтожать неправду как в себе, так и в других. Ребята же не только не привиты в этом плане, но еще и влюблены в народ по уши. Слепо влюблены, хоть и прекрасно знают, что не перевелась еще разная сволочь на русской земле и надо быть осторожным. Обдурить парней, а то и привлечь на черную сторону — плевое дело. Ведь чисто блаженные же. Дурачки. Провалят явку. К бабке не ходи — провалят. И трех лет не протянут, как Христос в народе. И это еще полбеды, если посмеются над ними — как бы травить не начали!

Бурикову, дурачку этому — ну точно кранты. Говоришь ему — не к святым, Ильюха, придем, ты ж читал про них, ты ж слышал! А он знай себе улыбается. Я сам, говорит, не ангел, помнишь, как заболел четыре года назад, когда нас на заготовку дров бросили. Только подлец, говорит, может загрипповать, когда аврал и каждый человек на счету. И это, закипаю, все, чертов ты демон?! Нет, не все, это только из последнего, отвечает. Ну, мол, грехов-то еще с горой, намекает, — дай только вспомнить, Огрызкин. Маме обузой стал, помогаю ему. Зачат во грехе, продолжаю углубляться в его прошлое. Не родился за восемнадцать лет до 1941 года, ору! Девочкой! Потому что мужицкого мяса и без того хватало, а вот выносить-бинтовать его некому было — все бабы в полях да у станков!»

Между тем вода, на поверхности которой валялся парень, была далеко не парное молоко. И это еще толерантно выражаясь. Чтобы читатель составил примерное впечатление о температуре H₂O, скажу лишь, что даже при всем желании нельзя было нанести удар по мужскому достоинству Огрызкина ногой или, там, сковородкой — только насмешливым или сочувственным словом.

В отличие от своей ноготковой батарейки, обжатой муравьиной кладкой, парень долгое время не чувствовал холода. Оно и понятно. Во время осадков его согревало непрерывное выкидывание градин. Наклонов и бросков было так много, что спустя пару часов после начала водной эпопеи Огрызкин натопился, как банька, о чем красноречиво свидетельствовали клубы пара, повалившие из его рта на выдохах.

Когда небо выключило брандспойты, градобол перестал двигаться и, как следствие, начал постепенно замерзать. Горячие мысли о Большой земле какое-то вре-

мя, конечно, поддерживали тепло в его организме, но это не могло продолжаться вечно. Нельзя забывать, что Россия все же холодная страна. Она способна остудить жар даже самого пламенного сердца. Зато в ней уж точно не скиснешь, как молоко. Холодильник — он и есть холодильник. Кстати, кто хочет сохраниться совсем уж надолго — перелазь из молочного отдела в мясной отсек. В морозилку с именем Сибирь. При жизни в ней человек точно не пропадет, а повезет — так и по смерти. Ермака того же взять. Впечатала его Сибирь в лед Иртыша — и фамилии не спросила. Или Ленин опять же. Всего пару лет прожил он недалеко от того места, где пишется эта книга, однако до того отморозился, что до сих пор не пропах. Не верите — сходите в мавзолей или на ближайшую площадь. И никакой тут лирики. Галимая физика.

Впереди была ночь. В такой воде ее не пережил бы ни человек, ни даже Ихтиандр, в которого, как мы помним, обратился Огрызкин. Ночь в такой воде мог вынести разве что бог греческого происхождения. И не какой-нибудь там гламурный Аполлон, а только первый после Зевса — повелитель морей Посейдон.

Штормы и цунами обрушились на карцер. Огрызкин заворочал руками и ногами, как трезубцами, и тем согревался. По всему его должно было хватить надолго. Все ж таки не златоглавое мачо отбывало наказание в карцере — сибирский мужичок сидел в каземате. И как тут не вспомнить боевой путь Огрызкина. Тайга знавала времена, когда ему с товарищами приходилось окапываться зимой без огня (извините, ребята, светомаскировка) или летом на скале (простите, хлопцы, стратегическая высота). В общем, сомневаться в телесно-духовной силе Огрызкина не приходилось.

А ведь парень мог пойти легким путем. Однажды в библиотеке он случайно наткнулся на старинный манускрипт по магии, который помнил царя Гороха маленьким наследным княжичем династии бобовых, а атлантов — народом, добывавшим огонь с небес (речь о самых обычных молниях, подожженных деревьях и быстроногих оленях, сыновьях леопардов, опережавших дожди). За несколько месяцев Огрызкин овладел древнейшими, допроститутскими практиками, применив которые можно было не то что согреть студеную воду — вообще выпарить ее, как цыпленка из яйца. Но наш герой поклялся себе никогда не использовать волшебство, как достойный обладатель черного пояса по карате дает зарок никогда не применять силу, чтобы часом кого не зашибить. Изучив картинки в книге (язык расшифровке не поддался), Огрызкин понял, что является неандертальцем, случайно оказавшимся перед раскрытым ядерным чемоданчиком.

«Нажать на кнопку ума, конечно, хватит, манипуляция вроде нехитрая, но каковы будут последствия?» — задался вопросом парень и, не найдя вразумительного ответа, тихонько разорвал манускрипт на мелкие кусочки. После этого высыпал обрывки магических знаний в горшок с геранью и в течение нескольких недель заботливо их поливал, терпеливо снося шпильки мужчин-библиотекарей (в Челябинск бы этих альфа-самцов с их трудовой книжкой).

Ночь прошла в борьбе. Огрызкин исплавал карцер, как гуппи — аквариум, избивчал воду, как Ксеркс — Гелеспонт. Но вот чего уж никак нельзя было ожидать от человека, попавшего в столь несовместимые с жизнью условия, так это того, что он позволит себе спать. Однако Огрызкин позволял. И не раз. И даже с храпом, который в данном конкретном случае был, кажется, посильнее самой ядовитой насмешки над испытаниями. Запасов тепла, накопленных движением, Огрызкину вполне хватало на двадцатиминутки забытья.

8

В три часа ночи Огрызкин услышал топот над головой. Он быстро умылся, хотя в его ситуации это было явно лишним. От Посейдона и след простыл. Вместо сурового эллинского бога на поверхности воды объявилась легкомысленная водомерка. Она без видимых усилий заскользила по водной глади брюшком кверху, пуская изо рта фонтанчики.

— Серега, — голос Ракитянского сверху. — Как ты, брат?

— Перевоспитываюсь, — запустив фонтанчик, ответствовала водомерка.

— А мы с Буриковым еле удрали, чтоб тебя проведать. Ты ж знаешь, Владимирыч словно и не спит совсем. Еле дождались, когда задремлет... Вода-то, наверно, лед.

— Не, не айс, — булькнула водомерка.

— И че тебя все время хулиганить тянет?

— Ну, такая, полагаю, натура.

— Дикая у тебя природа, значит, — пристыдил Ракитянский.

— Человека там ага — не бывало, одно зверье непуганое, — молвила водомерка и заскользила по воде.

— Ладно, зверок, мы тебе с Ильюхой поесть принесли, — сказал Ракитянский. — Лови хлеб-то.

— На хлеб не ловлюсь, — зло отрезал уже окунь, заработав желваками, как жабрами. — Червячка бы заморить. Есть, не?

— Ты чего, Серега? — озадачился Ракитянский. — Мы ж свои. Ты против других бунтуй. Мы-то при чем?

— При том, что ради вас же стараешься, муки принимаешь, а вы меня потом в дикую природу мою носом тычете.

— Извини, мы не хотели тебя обидеть, — вмешался в диалог Буриков.

— О, Ильюшка прорезался, — отреагировал окунь и не замедлил с советом: — Ты бы, брат, поменьше с Ракитянским-то водился.

— Чего это? — спросил Буриков.

— Того это... Ты его, с позволения сказать, трактаты по Родине читал?

— Ну.

— Ну и что ты из них понял?

— Да все понял. А ты разве нет? По-моему, ясно и глубоко написано. Применяй, как говорится, не хочу.

— Вот именно — не желаю! — ребром плавника разрубил окунь водную гладь. — Он ведь в Россию-то не верит, Ильюха. Я аж закручинился над расчетами его. Над «Му-му» в младенчестве так не горевал, как над выкладками Ракитянского. Его фермы, заводы и фабрики ждет процветание, кто ж спорит. Он же у нас все до мелочей вымерил. И где, и что, и как, и в каком количестве, и сбыт, и логистику, и все-превсе.

— И что тебя тогда смущает? — задал вопрос Буриков.

— А то, что в трактатах Ракитянского русские люди унижены. Толян же на них совсем не рассчитывает, без них процветание их собственной страны выводит. Вспоминай, Ильюха. Функционирует, например, у Ракитянского тяжелая промышленность. Прибыльная тяжелая промышленность. Сверхприбыльная даже. Пытался я придрататься к выкладкам его — не смог. Все четко! Ни одного узкого места! И сверхприбыльный его тяжпром вопреки тому, что в нем девяносто восемь процентов рабочих — воры, пьяницы и тунеядцы. Вспоминай же! Вспоминай ракитянские штатные расписания по заводам и фабрикам! Таблицы его! В них же нормаль-

ного работника днем с огнем не сыщешь! Почти сплошь — горе-кадры! Вор-бухгалтер. Выпивоха-литейщик. У технички — водобоязнь. Сторож-жаворонок — как минимум! Ракитянский ведь их даже высокотехнологичным оборудованием заменять не стал, чтоб безработицу не вызвать. Точнее, заменил, где надо, но никого не сократил, ни одного человека! На новые должности балласт назначил! Один третий зам по корпоративному климату чего стоит!

— В расчетах я всего лишь исходил из самой худшей социально-экономической обстановки, — заметил Ракитянский. — Несправедлив ты, брат. Прошу — остынь.

— Я тут за ночь так остыл, что языком меня лизни — прилипнешь! — плеснулся окунь, ушел под воду и, вынырнув, продолжил: — Ты ж не знаешь совсем людей, Толя! Как ты смеешь тогда?! Я те не Буриков, иллюзий насчет нашего человека не питаю, но даже я содрогнулся, читая тебя! И хорошо бы только люди. Но ты ж и природу унизил! У тебя ж и в ней все максимально неблагоприятно! Она-то тебе чем не угодила, анти ты Пришвин?! Ведь одни же засухи, потопаы, пожары, ранние зимы, поздние весны в расчетах по сельскому хозяйству! Согласен, у нас зона рискованного земледелия на зоне, но не до такой же степени, чтобы даже трава не родилась! Она ж сама растет, сама! Так нет — ты и по ней прошелся в таблицах своих! Жаль, нельзя ткнуть тебя носом в наши таежные поля и огороды. Плохой они пример — полем мы их! Ну так возьми в среднем по России! Вспомни сводки! Рассказы старших наших! Известно же тебе, что вся страна травой заросла! Бурьян на лебедь! Пырей на крапиве! Да такие высоченные — хоть баскетбольные команды сколачивай! И не только сельские — городские тоже! Поэтому я за животноводство, в отличие от тебя, давно не переживаю. Травы навалом — жрать скоту не пережрать! Не держи коров в загонах, выпинывай баранов с кошар, и завалимся молоком и мясом!

Ну да черт с ним, с бурьяном. Ты мне лучше вот на что ответь, Толя: с каких щей у тебя раз в два года запланирован неурожай по зерновым в Краснодарье?! Да, тебе довольно одного удачного года, чтобы забить закрома на десять лет вперед. Да, ты на двух экспериментальных сотках в Сибири доказал, что это не сказка. Но разве обязательно при этом глумиться над черноземом и климатом Краснодарского края?! Ты забыл, что на Большой земле этот регион в один ямб с раем ставят?! С какого рожна у тебя там год на год не приходится?! Почему не год на пять?! Семь?! Десять?!

И почему у тебя киты — эта вековая пища рыбацких поселков Крайнего Севера — вдруг перестали заплывать к чукчам? Это анекдот такой, да?! Или, может, ты с китами на коротком хвосте, что все про них знаешь?! А я тебе говорю: заплывали, заплывают и будут заплывать, будь ты неладен! Потому что это тебе не пелядь-сельдь-треска. Это киты, Толя! В океане им нет равных по силе! Они находят на шпиле пищевой цепочки и в курсе, что никто, кроме чукчей, их не проредит! И плывут на смерть сами! Мудрость китов в этом плане не уступает их размерам. Она уходит своими корнями в библейскую древность. В ветхозаветные времена в китовых колониях даже не преступников перевоспитывали — пророков! Чуешь масштаб рыбин?! Иону вспомни. Ну же! Давай вспоминай Иону! — потребовал Огрызкин от Ракитянского вспомнить, похоже, даже не книжное, а, судя по интонации, личное знакомство с пророком. — Киты знают, что чукчи без них пропадут, знают, что от них не требуют больших жертв, а потому идут на заклятие с радостью! Одна особь — и поселок сыт три месяца! — сказал Огрызкин с такой уверенностью, как будто вырос среди чукчей на китовых отбивных и не знал никакого другого жира, кроме ворвани. — Киты иной раз даже охотников не ждут — сами на

берег выбрасываются! Но ты унизил эти многотонных агнцев. Они у тебя, видите ли, перестали к чукчам заплывать!

Ильюха, постой, не уходи! — взбурлив воду, вскричал редкий, занесенный в Красную книгу окунь-холерик, как будто Буриков действительно куда-то намылся. — Ставлю тебя в известность, что даже Всевышний оставил Россию! Спросишь, какой? Да любой, Ильюха, любой! Боги всех мировых религий, по Ракитянскому, отвернулись от шестой части суши! Не говоря уже о всяких языческих божках! Это наш знахарь совсем недавно в бухгалтерию свою занес. Он умудрился вывести благоденствие России не только при минимальном участии людей, земли, природы, но и Божьей помощи!

Если говорить о православии, то оставлена всего одна мироточащая икона на страну! — бушевал Огрызкин. — Каково, а?! Одна икона! Куда остальные-то делись?! Куда запропастились?! Куда?! Ну да ладно — я все равно не расстроился. А знаешь, почему, Ильюха? А потому, что и одной благоухающей Казанской позаглаза на всю Россию! Великую, Малую и Белую! Еще и сербам перепадет! Лично к ним повезу, чтоб понюхали и приложились! А уж греки давай к нам сами, че все время мы да мы?! — так искренне возмутился Огрызкин, как будто во главе некой церковной делегации уже намотался по белу свету, и его порядком достала эта кочевая жизнь, в которой толком ни помыться, ни побриться. — И копий наделаю. Сотни! Тысячи копий Богородице! Это вам не Шишкин, где репродукция хуже оригинала. Это Богородица! Она наверняка везде прекрасна, хоть и не видел ее! Что, что?! Иконописцев, кричите, столько не нарою?! — разгневался, если не сказать рассвирепел Огрызкин, как будто кто-то действительно проорал ему в ухо о дефиците Рублевых. — А ребятишки на что?! Они писать будут! Не качеством — так детской непорочностью возьмем! Нимб набекрень, зато святость динь-дилинь! — перешел Огрызкин на колокольный язык, видно, не сумев с ходу облечь святость в достойные ее ризы на русском. — Ведь ни наши люди без Божьей Матери, ни Она без них! Спокон веков! Я, атеист Сергей Огрызкин, заверил во Христа, прочитав Ракитянского! С перепугу, наверно! Истинно, пути Господни неисповедимы! Тута мой Иордан! Днепро мое! Вмиг и окрещусь, чего тянуть! — сказал курсант и три раза погрузился в карцерные воды с головой.

А дальше, Ильюха, хуже, — уже спокойно сказал новообращенный православный христианин. — По Ракитянскому, процент исцеляемых от мощей святых — две целых сорок пять сотых. Интересно, откуда эти сорок пять сотых? Откуда такая прямо немецкая точность? Это ж только у бургера сто коров дают сто телят. А у нас сто коров могут дать девять телят, а могут и сто двадцать семь. Где двадцать семь не из двойняшек, а заняты у соседнего совхоза на время районной проверки. Или сперты по наваждению лукавого. Или прибились с Божьей помощью — наверняка есть у нас и дикий домашний скот. Всего можно ждать от Большой земли... Ильюха, меня страшит благоденствие от Ракитянского. Мне не нужно оно. Я умолять его готов, чтоб он внес коррективы в свои работы. Это до чего мы тут или они там, на Большой земле, докатились, что лучшие курсанты выводят процветание без участия людей, природы, Бога?!

Ракитянский и Буриков лежали на карцерной решетке и поджаривались на словах Огрызкина, как шашлыки на углях. Посетителям было что ответить узнику, но его намеренно не прерывали. Куски мяса лишь резко переворачивались, когда снизу уж очень припекало. Знали Ракитянский и Буриков — настрадался за ночь Огрызкин, но напрямую об этом сказать не может, поэтому пусть себе выплескивается через Россию. Жаловаться через нее не считалось зазорным, так как она являлась

слабостью всех курсантов без исключения. Плохо, грустно, тяжело, страшно, обидно, больно тебе — реви хоть в три ручья. Но не по себе, а по Родине. Такое было правило.

К слову, имелось предостаточно примеров, когда родная страна помогла курсантам вынести физическую и душевную боль. Однажды на учениях парнишка с Летнего конца города подорвался на противопехотной мине и лишился ступни. Целых пять минут он решал, над чем же ему заголосить в России под стать своим страданиям, и за все это время, как положено, не издал ни звука — только побледнел, что не осуждалось при ранении. А боль, надо сказать, была страшная. Казалось бы, не мучайся, взвой над нищетой и безнравственностью народа или вспомни о непрочности тех же духовных скреп, и дело с концом. На поверхности же эти вещи лежат и вполне соответствуют тяжести страданий. Так и хотел поступить несчастный, да совесть не позволила: не обе ж ноги оторвало по самую сурепицу — ступню только.

«Может, коррупция? — мелькнуло в воспаленном сознании. — Нет, ее берут все, кому не лень».

Видно, ступня действительно заслуживала большего разнообразия, так как курсант, невзирая на дикую боль, продолжил перебирать вариант за вариантом. И когда уже не было сил терпеть, раненый неожиданно вспомнил об утраченной Аляске. Парнишка возликовал. Сердце его бешено заколотилось, разогнало кровь по телу, и доселе прерывистые струи из культи забили, как ручьи из скалы. Что там ручьи — это были натуральные молочные реки для комаров и других мелкокалиберных вампиров. Ну да не суть — главное, Аляска вполне годилась. «Это не Крым, поди, не вернем», — подумал парнишка и со спокойной совестью взревел белугой. Вероятно, над разбазариванием казенных земель позволялось даже визжать, потому что никто не бросил на курсанта косога взгляда, когда он позволил себе взять слишком высокие ноты. В глазах товарищей светилось сочувствие. Благодаря вопившему раненому многие заново открыли для себя Аляску. Оказалось, американцам продали не кусок намазанной снегом мерзлоты, а белую женщину, которая, как прабабка Пушкина, во имя любви не побоялась понести плод от эфиопа. Это несчастный так нефть завуалировал, которая в курсантской среде была синонимом национального позора наряду с газом и лесом, а потому по возможности заменялась другим словом или словосочетанием.

Слушая Огрызкина, сдержанный Ракитянский ровно клокотал глубоко внутри себя, как вулкан задолго до извержения. Хлесткая критика задевала Толю, но не до такой степени, чтобы хоть сколько-нибудь поднять и без того высокую температуру магмы в недрах его самодостаточной души. Ракитянский реагировал на бортовку друга не как хоккеист на ледовой арене, а как человек, которого толкнули плечом в метро, — обернулся и тут же забыл.

«Если б они знали, если б они только знали, что меня мучит», — думал Ракитянский.

Минул год, как парень потерял покой. В июне 2006-го в Толиной душе поселился ужас. Он ежедневно жевал курсанта, как бубльгум, высасывая сладость бытия. Все началось с того, что Ракитянский случайно услышал разговор двух преподавателей по военному делу.

— Ты видел ребят сегодня? — задал вопрос первый.

— Как же не видел, — ответил второй. — Уровень боевой и политической, как у небесного воинства, не ниже.

— И все же давай спустимся с небес на землю, — призвал первый. — Как бы они, по-твоему, захватывали дворец Амина, если бы знали, насколько сильны?

— Ну, думаю, один бы выполнял приказ, остальные гоняли бы мяч поблизости.

— И кого бы они, на твой взгляд, послали в дело?

— Полагаю, кого-нибудь из травмированных. Ну, чтоб не скучал на скамейке запасных и познакомился с древней восточной архитектурой.

— Оружие бы хоть туристу дали? — хитро спросил первый.

— Шас, — подмигнул второй. — Еще пристрелит кого-нибудь. А вот руки бы связали, чтоб подольше по дворцу шлялся и от футбола не отвлекал. Любят, черти, мяч попинать. Другой раз хочу прошение написать на имя мэра, чтобы хоть пять пацанов после окончания курса в сборную отдали.

— И не мечтай, — сказал первый. — Каждый человек на счету. Чем аргументировать-то будешь?

— Подъемом национального самосознания после побед.

— Побед, — усмехнулся первый. — Победы тогда победы, когда в тяжелой борьбе добыты. А у нас в городе бразилец на аргентинце и парагвайцем погоняет. Латинская Сибирь. Ты видел, как ребята в атаку ходят? Одни идут осторожно, словно по минному полю. Филигранные пасы, никаких лишних перемещений. Другие, напротив, прут вперед, как в штыковую. В полный рост. На скоростях. С десятками потерь и отъемов мяча в рукопашных. А как стоят те, кто играет от обороны? Мне кажется, я вижу траншеи с ходами сообщений, пулеметные гнезда, разобранных и взятых на мушку противников. А вратари как прыгают? Как кузнечики на лугу: не всегда эффективно, но эффектно всегда. Бывает, мяч в правый угол летит, саранча — в левый, и не знаешь, за кем наблюдать.

— Саранча?!

— Голкипер команды, против которой болеешь, — пояснил первый.

Дальше Ракитянский слушать не стал. А зря, потому что дальше речь всерьез зашла о том, что надо бы сбегать несколько ребят Танзании, чтобы в будущем российской сборной было с кем конкурировать. В диалоге двух военных некоторым курсантам засветили иностранное подданство и не виданный доселе гражданский долг — игра против собственной страны.

— Нет, это уже ни в какие ворота не лезет, — на миг опамятавался первый.

— Кроме футбольных, — успокоил второй.

Из услышанного Ракитянский понял, какими высокими профессионалами стали курсанты. Но это не наполнило Толю гордостью, это его ужаснуло.

«А если на Большой земле кто-нибудь из моих товарищей спятит или подпадет под дурное влияние? — думал он. — Никто же его не остановит. Ведь же сотни и тысячи людей лягут, если вовремя не будет вызван кто-нибудь из наших для нейтрализации. Для этого разве мы родились, — сокрушался Ракитянский, — чтобы убивать сошедших с ума или истинного пути братьев?! — Уродливые, страшные мысли стали одолевать юношу: — Уж лучше бы Россию завоевали извне или порвали в клочья сепаратисты. Тогда после выхода из леса нас ждала бы война, к которой мы готовились с детства. Уж где-где, а на фронте нас точно не переключит. Там никто не сможет нас обмануть, подставить, использовать в предательских целях, даже если захочет. А то. Мы же псы войны. И далеко не овчарки и ротвейлеры — питбули и стаффордширы. Если с дворцом Амина правда, то последний из нас стоит батальона, первый — полка, если не дивизии.

Только что теперь об этом рассуждать. Россия устояла. Впереди не исключена и даже высоковероятна гражданская служба. Готовы ли мы к ней? Многие считают, что да, и даже мечтают реализовать себя в мирной профессии. Наивные! Думают, всестороннее образование гарантирует им воплощение грез. Полагают, знаний, полученных в тайге по программам ведущих вузов мира, достаточно, чтобы на Большой

земле все сложилось отлично, пошло как по маслу. Ну не дурачье ли?! С психикой-то своей больной что будут делать?! С сердцами прокаженными?!

Нас же с младых ногтей накачивали войной. Мы же куличи не из песка — из пороха лепили! Первые детские воспоминания вспышками: враг внешний справа, враг внутренний слева! А первые слова?! Не „мама“, „папа“, „баба“, „пи-пи“, „бо-бо“, как на Большой земле, а „шалдат“, „недлуг“, „пuffed“, „гилой“, „тилпи“. Ну какой?! Вот какой логопед теперь нам души выправит?!

Я хочу стать архитектором, шепчет мне перед сном Буриков. А отрубится — ведет в атаку танковую бригаду, сравнивает с землей здания, которые пять минут назад строить мечтал! И пусть нечасто такое с ним, но бывает же!.. А Холодцов? Какая ему, к чертовой матери, хирургия?! Днем планирует оперировать кишки, а после отбоя спит и видит, как наматывает их на штык! Пусть не каждую ночь наматывает, но случается же!.. Кувардин все о стезе физика грезит. Прекрасно. Только боюсь, от разработки альтернативных источников энергии его быстро унесет в сторону создания бомбы хлеще водородной. И ведь создаст же, черт упертый! Что тогда делать прикажете?! Предателем становиться?! Сдавать его разработки другим странам, чтобы восстановить баланс сил в мире?! Вот спасибо тебе, брат Кувардин, за Иудин удел!..

Да и о чем я вообще?! Ведь не дадут же ребятам работать там, где они хотят! Не позволят же им! Зачем они себя только травят?! Забыли, что люди долга не выбирают поприще, что будущее лесных братьев давно определено — истэблишмент. Новый правящий класс. До шестого года — военный, после изменения ситуации в России — еще и гражданский. Эй, архитектор, скажут Буре. Мы дали тебе целых полтора года на чертежи проектов, а теперь иди-ка ты замом к министру строительства Ростовской области... по юридическим вопросам. Не для того государство столько денег в тебя вложило, скажут Холодцову, чтоб ты до конца жизни во внутренностях копошился. Но в медицине, так и быть, оставим. Возглавь-ка Минздрав Забайкальского края и сконцентрируйся... на финансово-хозяйственной деятельности. Твой физический профиль радует нас, скажут Кувардину. Продолжай работать в выбранном направлении, только малость повернись. Руководитель Федеральной антимонопольной службы — это тот же физик, только в ФАС...»

С каждым днем реалист Ракитянский стал крениться в сторону пессимизма, пока полностью не завалился на мрачный бок. Юноша почти перестал улыбаться. Он знал, что там, на незнакомой, в сущности, Большой земле, в какой-то момент может произойти сбой у любого из его товарищей, и довольно будет пары-тройки спятивших, чтобы все пошло прахом. Ракитянский ни с кем не делился своими опасениями, чтобы не заронить у собеседника такие же мысли, как у себя, и тем самым не создать предпосылки для негативного сценария развития чужой души.

У парня оставалась только одна надежда — на то, что люди, создавшие город в сибирской глуши, поймут всю чудовищность возможных последствий эксперимента и после этого не уничтожат лесных братьев как производственный брак, а отпустят их в свободное плавание по миру. Шестое чувство, развившееся в девственной природе, подсказывало Ракитянскому, что накануне контрольной Третьей мировой пройдут генеральные репетиции — сотни жестоких мелких войн. Войн без начала и конца, победителей и побежденных, тыла и фронта. Войн всех против всех, где будут сражаться не армии — десятки тысяч мобильных мини-формирований, просыпающихся для боевого дня в песках Ирака, обедающих в снегах Арктики, засыпающих в джунглях Сьерра-Леоне. Войн, где выпускники таежного университета могут проявить себя как никто другой.

Ракитянскому так ясно виделись те, с кем придется столкнуться в битвах, как будто они уже вовсю орудовали рядом. Эти зомбированные черные храбрецы за-

хватывали уже не заложников, а бомбардировщики, субмарины, атомные станции, арсеналы с химическим и биологическим оружием. Жадным до убийства извергам было мало смерти современников — подавай еще не рожденных.

Толя всеми фибрами души сопротивлялся дьявольскому обаянию новейших варваров, по сравнению с которыми толкиновские орки казались даже не людьми — эльфами. Тщетные усилия. Размышляя о предармагеддоновых временах, юноша против воли проникался уважением к их зловонному порождению, мечтающему уже не о захвате отдельного разложившегося Рима, но кровавом обновлении всего мира, погрязшего в несправедливости и пороках. Гунны XXI века совсем не дорожили жизнью, не гнались за деньгами, славой и почестями. Даже в их аморальности была заключена пусть и изуверская, но нравственность: не хотите вместе с нами сражаться против несправедливого мироустройства — умрите все до единого. И умрите такой смертью, перед которой костры инквизиции покажутся соляриями.

Ракитянский терзался, что в боях с черными ордами лесные выпускники будут олицетворять отнюдь не белую рать, как бы хотелось. Слишком глубоким мыслителем был юноша, чтобы оперировать двумя классическими цветами. Это ведь только во время апокалипсиса белое схватится с черным, размышлял он. В предпоследние же времена силам добра, под знамена которых встанут таежные ратоборцы, выдадут форму пока лишь переходного серого цвета — в масть пыли и пеплу от терактов и уличных боев.

— Да, мы будем защищать мир и порядок, слабых и обездоленных, коли отпустит от себя Россия, — казнил курсант, — но вместе с тем и золотой миллиард, планетарную элиту, которая хоть и не убивает людей — не дает им достойно жить... Нет, не белыми мы будем — серыми. Как заработные платы на материке — серыми. Сможем обеспечить людям только более-менее спокойное настоящее. Но не будущее. Не будущее!

Воюя в мыслях с выкидышами преисподней в Афганистане и Швеции, Австралии и Мексике, ЮАР и Камбодже, Ракитянский ни на секунду не забывал о Родине и был готов вернуться в нее по первому зову, так как знал, что беда может случиться в любой момент...

9

...Об угрозе китайского вторжения в Сибирь в изумрудном городе заговорили давно. Впервые эта тема была поднята таежной администрацией, когда состоялся юбилейный сотый побег на Большую землю. Пойманного с помощью собак курсанта приволокли на Лобную площадь, привязали к столбу и повесили ему на грудь табличку с надписью «Следующий беглец будет считаться предателем Родины». Молодые горожане потребовали объяснений, так как — чего греха таить — каждый второй из них втайне мечтал удрать на материк, чтобы поскорее приступить к службе Отечеству.

И объяснения последовали. На самом высоком уровне. Мэр собрал жителей города в Колизее и обратился к ним с речью, суть которой можно свести к одному предложению: «В то время как над Сибирью нависла угроза желтухи, вы, олухи с шилом в коричневом месте, драпаете из нее». В качестве доказательства градоначальник потряс над головой свежими письмами с материка, в которых верные люди предупреждали его о приближающемся азиатском нашествии.

Мэр лгал. Никаких писем он не получал, а в руках держал липу. Поднебесный агрессор был специально придуман лесной администрацией, чтобы курсанты пере-

стали переживать из-за того, что находятся в тылу современной российской истории, и ощутили себя пограничниками на потенциальной передовой, с которой, как известно, валят только предатели и трусы.

Запущенная утка о китайских оккупантах сработала, не могла не сработать в режиме изоляции, который является идеальной питательной средой для мифов, слухов и домыслов. Побег прекратился, а с ними и смерти юных дезертиров в тайге от холода и диких зверей. Один Бог знает, скольких русских мальчиков спасла КНР от гибели и тюрьмы. Известно только, скольких не уберегла. Двадцать шесть трупов, семьдесят четыре ээка — цена отсутствия басни о китайцах-агрессорах до 2005 года.

Узнав о грозящей Сибири беде, курсанты первым долгом бросились в библиотеку искать подтверждения словам мэра. Святые старцы, великие прорицатели вроде Нострадамуса, астрологи средней руки и мелкая вошь в виде колдунов, магов, гадалок и ведьм как будто только того и ждали, чтобы к ним обратились за страшными пророчествами. Они не только поддержали градоначальника в его лжи во спасение, но, образно говоря, даже по-отечески обругали мужчину со страниц фолиантов за немалое преуменьшение китайской угрозы. Тот факт, что другие, уже оптимистичные старцы, пророки, астрологи, колдуны, гадалки, маги и ведьмы предсказывали Сибири безмятежное и даже местами весьма великое будущее, курсантов ничуть не успокоил. Во-первых, потому, что прорицателей-пессимистов точным огнем поддержали знаковые математики вроде Гаусса и Лобачевского, которые прокричали с учебников, что минус на плюс дает-таки минус. Если ты, читатель, гуманитарий, то перевожу: «КНР оттяпает у нас Сибирь» на «КНР питает к Сибири исключительно добрососедские чувства» дает нам «китайскую речь на улицах Новосибирска, Омска, Томска, Красноярска, Ачинска, Читы, Барнаула, Кемеровы, Бийска, Иркутска, Ангарска, Норильска, Абакана (мой город в списке, черт бы побрал этих математиков!), Лесосибирска, Железногорска, Читы». Во-вторых (да-да, есть еще и «во-вторых»), курсанты просто не желали верить в светлое будущее темно-зеленой на кипенно-белом Родины. Глупые пацаны! Не мужи, но мальчики! Им хотелось стать богатырями Владимира Красно Солнышко на заставе. И богатырями не праздными, а сражающимися. Муромцами себя мнили. Никитичами. Поповичами. Вот же бесово племя, если под лупой на них взглянуть. Они ж беды жаждали, если всмотреться-то! По ним так без внешнего лиха как бы и подвигам неоткуда было взяться! Дурьи бошки, ей-бо!

А дальше курсанты принялись досконально изучать потенциального врага. Язык Поднебесной стал вторым городским. Ложки и вилки были заменены на палочки. История, культура, искусство, ремесла, религия, быт и нравы древнего и современного Китая подверглись скрупулезному исследованию и произвели такой переворот в умах и сердцах курсантов, что многие из них, сами того не ожидая, влюбились в Срединное царство глубокой и, как им казалось в силу особенностей национального характера, неразделенной любовью. Дошло до того, что четырнадцать юношей вдруг заговорили о том, что выдающийся южный сосед достоин больших и лучших территорий и Россия совсем не оскудеет, если передаст Китаю неиспользуемые ну так-то земли под огуречные и помидорные теплицы. Как и следовало ожидать, сердобольные рубахи-парни довольно быстро пострадали за нездоровое чувство к Поднебесной. Эти особо широкие русские души были изнахрачены товарищами так, что едва не вознеслись туда, откуда Великую Китайскую стену (так сказать, разумную границу любви, которую нельзя переходить) можно наблюдать во всей ее протяженности. О чем есть прямые свидетельства спутников и космонавтов.

Дальше — еще интереснее. По тайге пронесся слух, что нацпредатели якобы уже сдали Сибирь китайцам и выставили гнусное дело так, как будто не сдать территорию было нельзя и даже почти преступно. Все лесные юноши за редким ис-

ключением сразу поверили, что именно так оно, несомненно, все и было, потому что представляли собой иссиня-пассионарных товарищей, которые на дух не выносят благополучное положение дел и готовы поверить во все что угодно, в любую чушь, лишь бы получить возможность пролить за Отечество не пот, а кровь. И вот хоть бы уж с боем матушку нашу сдали, чертыхались курсанты, или на худой конец — без боя. А то ведь ни рыба ни мясо — в аренду. Невесть откуда взялся даже точный срок — на сорок девять, мол, лет. Цифра для такой мерзости, как слив собственной земли, подходила идеально, и с ней моментально согласилась вся молодежь. Другого такого хитромудрого числа, по общему мнению, просто и придумать было нельзя. Вот если бы Сибирь сдали в пользование на солидный юбилейный полтинник, гудели курсанты, тогда да — русский народ непременно почувствовал бы себя проигравшим от сделки и поднял бы восстание. Не против инородцев. Против родных же мразей. В цифре же сорок девять — глубоко, конечно, выношенной в ренегатских лабораториях — были успокоительная размазанность и незавершенность, маркетинговая легкость и игра, а следовательно, как будто ничего смертельного.

Группа юношей с Осеннего конца предположила в деталях, как и при каких обстоятельствах подписывался договор аренды, и другие концы, согласившись, подхватили: «Ну факт! Факт!» По твердому убеждению осенников, слив территории был обставлен в высшей степени красиво и трогательно и, следовательно, омерзительнее некуда. Если бы перед сдачей Сибирь ограбили, унизили, изнасиловали в щель между Уральскими горами, шумели курсанты, то это еще куда ни шло. Но ведь нет же! Изменники ведь ее, конечно, и пальцем не тронули, чтоб товарный вид не испортить. Они под руку подвели китайцев к Сибири и... поцеловали ее. Не образно, а натурально припали губами к земле под вспышки фотоаппаратов и, ободряя народ, что аренда — это не навсегда, облобызали святые пяди, чтобы до времени ни одна живая душа не догадалась, что свершился самый утонченный вид предательства, введенный в обращение в 33 году нашей эры.

После всего этого денежная сумма, которую Россия получила по договору, могла быть, конечно, только одна. Тридцать триллионов долларов. Всего за тридцать триллионов, плевались курсанты и при обмусоливании этой цифры чувствовали себя виноватыми, словно самолично предали Сибирь. Так им и надо, ибо нельзя слово «всего» в таких случаях употреблять. Как будто если бы за сто триллионов Родину сдали — то ниче, нормально, а тридцать — это, блин, продешевили!

Ракитянский со стороны наблюдал за кипением городского котла и по мере сил охлаждал страсти. Больше всего он опасался, что горячие головы бросят клич и начнется поход на Большую землю. В мыслях он уже представлял оставленные после марша петляющие, стокилометровые просеки на теле тайги, похожие на борозды, какие выгрызают на кедровых стволах червяки-древоточцы. Видел курсант и конец похода. Бесславный и позорный, как детский крестовый, потому что воевать на материке, по мнению Ракитянского, было не с кем. К такому заключению курсант пришел практически рациональным умом и гораздо раньше, чем случилась речь мэра в Коллизее. Ракитянский был уверен, что на Большой земле все спокойно — и это при том, что Сибирь давным-давно и совершенно бесплатно взята китайцами.

— Не там ребята руют, не там, — со скрежетом, как с четвертой скорости на первую, переключился Ракитянский с войны против представителей огненной геенны на китайский вопрос. — Лучше бы придали значение долетавшим до нас отрывочным сведениям. Китайцы ведь уже тихо просочились в Россию с правого борта. Красные бизнесмены, торговцы, рабочие и крестьяне — кого только нет, кроме военных! С Дальнего Востока зашли. Понятное дело. Он малый портовый. Сам легко в гости

ездит и других у себя привечает. Древнее морское гостеприимство, значит. Но это просачивание-пропитывание-промокание у товарищей почему-то опасений не вызывает. Говорят, ерунда. Обычные миграционные потоки.

Обычные-то обычные, только у русских женщин уже дети в Хабаровске рождаются с раскосыми и жадными очами! Собственными глазами читал! — И тут произошло то, что называют внезапным прозрением, от которого волосы на теле курсанта обрели бицепсы и задвигались. — А даешь смешение рас, — почему нет?! — стеганул Ракитянский пришедшую в голову мысль и галопом поскакал вперед. — Ведь неизбежно же это! Процессы глобализации всего и вся коснутся! Значит, принять их как данность! Значит, первыми надо обновить кровь! — Резкий поворот влево. — Но ведь о русско-китайской семье писали-то пока как о чем-то из ряда вон! Не хотят соседи ассимилироваться! Не желают смешиваться с нами! Или анклавами селятся, или заколотили денег — и назад в Поднебесную! — Ракитянский натянул поводья, и взмыленная мысль успокоилась, перешла на плавный шаг. — А как было бы здорово разбавить русскую кровь китайской. Влить в нашу легендарную лень (любовь к решению задач при минимуме движений) отчаянное трудолюбие Чайны (любовь к решению задач при максимальной активности). — Шпоры в бока мысли, переход на рысь. — Какие бы у нас славные дети вышли! На загляденье же! Красивые! Умные! Здоровые! Сметливые! Работающие! Наши нынешние женщины, говорят, и так самые-самые, а метиски от смешанных союзов так прямо на тыщу лет вперед застолбили бы все модельные подиумы. Какое блистательное будущее открылось бы нам! Самые прекрасные на свете выходили бы замуж за самых сильных мира сего по всей планете и в ночной тиши, любовным шепотом, как Клеопатры, вершили бы судьбы земного шара. По справедливости и доброте вершили, потому что у наших женщин, как говорят, сердца из чистейшего золота. Только ж вот не ценят, совсем не ценят русские мужчины этот духовный Клондайк! Дождутся — другие оценят!

Потеря идентичности после смешения? Я вас умоляю, — высокомерно улыбнулся Ракитянский, отвечая возможным оппонентам. — Двести наций в себя вобрали, переварим как-нибудь и несчастную китайскую. Еще и обогатимся. Надо только увеличить в разы расходы на образование, культуру и науку. Сам этим займусь, если Россия от себя не отпустит, — думал Ракитянский, уже втайне желая, чтобы Россия не отпустила. — Тут главное — первое время выдержать. Перекантоваться до первых ребятишек от смешанных браков. Они уже наши будут! Евразияты в комплекте — не только душой, но и телом, выходит. Все силы на это бросим. Умрем, а ситуацию вытянем!

А что если все будет идти так, как сейчас? Что если китайцы под видом рабочей силы, инвестирования в экономику и дальше продолжат тихо заходить в наши не сильно-то населенные пункты и жить сами по себе, своим укладом? На кой мы им нужны, смешиваться с нами?! Они ведь и сами с реденькими усами. Ведь до того же дойдет, что они заберут власть в городах и всея на наших же выборах. Не уменим, а числом возьмут. Ну что ж — тогда план «Б»! — метнул Ракитянский перуновы молнии вовсе не в адрес китайцев, к которым питал глубочайшее уважение.

Скоро мы выйдем в люди, и первое, что сделаем, — тихо сменим властные элиты. Вплоть до глав поссоветов. Предшественников с помпой отправим на заслуженный отдых. Ордена, медали, грамоты, большие пенсии, пожизненный почет — все им будет, лишь бы отошли от дел и не мешали. А дальше начнем бесплатно раздавать земли за Уралом. Молодым семьям. Огромными кусками. Такими огромными, что конца и края надела не увидишь — полный беспредел. До границ участка не может дотянуться даже бинокль. Даже если он сверхдальнобойный, а у смотрящего — черника в рационе.

Проследим также, чтоб земли крупному бизнесу не достались. Вам, олигархи, — шиш, а не куш. Мы простим вам грабеж страны в период первоначального накопления капитала. Живите, как жили — вы нам не нужны. Чего нельзя сказать о ваших детях и внуках. Мы внедрим наших людей в школы и университеты, чтобы с малолетства ковали из ваших сыновей и дочерей социально ответственных граждан в лучших традициях отечественного купечества. А сейчас преспокойно воруйте, дорогие мои толстосумы. Чем больше украдете, тем больше нам вернет ваше потомство. Добровольно возвратит. Вы ж сейчас не себе — грядущей России карман набиваете. Мы даже вам памятники будем ставить, улицы в вашу честь называть за то, что сохранили и приумножили народное достояние. А в восемнадцать лет ваши наследники мужского пола пойдут у нас служить в дальние гарнизоны, чтобы пообтесались возле солдат от сохи и станка и приобрели среди них друзей. А коли к совершеннолетию ваших сыновей будут горячие точки, извиняйте — придется парням, значит, обжечься. Не переживайте — не на переднем краю. На второй и третьей линии фронта, через которую вывозят двухсотые и трехсотые грузы. Чтобы ваши наследники переоценили ценности еще раз, кто в школе и вузе чего-то недопонял. Нам новые богатые живыми нужны, только живыми, ведь на их воспитание мы потратим время и силы лучших наших людей.

Всем сибирским колонистам — беспроцентные кредиты на строительство жилья и закладку собственного бизнеса. Проценты будет крыть государство. Где финансы возьмем? А в коррупционном кошельке пошарим, почти годовой бюджет там, по слухам, а то и два. Мы же воровать не станем, деньги лесными братьями презируются. Все, что раньше не доходило по назначению, оседало в карманах чиновников, в дело пустим. Привлечем и дополнительные средства. Взятки станем брать у воротил. И тут же в наручники злодеев. А деньги — в казну. Вот резонанс-то будет. Жаль только, что быстро пересохнет этот дополнительный источник госдохода. Мигом скумекают владельцы заводов, газет, пароходов, что нарвались на стукачей-государственников. Для начала так, а дальше видно будет.

Не успеют люди порадоваться новой власти, как мы пойдем на непопулярные меры. Станем вырубать свет от Урала до Дальнего Востока с девяти вечера до шести утра. — Здесь Ракитянский покраснел, как Россия в 1917-м. — Ну, чтоб взрослые ребятишек, ну это... стругали. Или читали при керосинке в кругу семьи. Можно и при огне камина — ведь как уютно на самом деле! И никаких телевизоров и компьютеров. Или... заходи в любимого человека, или читай, или разговаривай с домохозяйками о житье-бытье. В крайнем случае — ложись на боковую и сил для нового дня набирайся. — Как ни хотел Ракитянский избежать очередного покраснения, а куда деваться, пришлось. — В калошах в святая святых, в хранилище для малышей негоже. Полный запрет на резиновую контрацепцию введем. О фабриках, ее производящих, позаботимся. Цеха перепрофилируем на производство воздушных шариков. С запахами, — а что делать? Не распускать же парфюмерные отделы. Да и здорово же, когда шарик клубничкой или черемухой пахнет. О, Боже! Есть же еще эти таблетки со спиральями, в энциклопедии читал. Ну и материк — слов не хватает, — вздохнул курсант. — Сибирь временно должна превратиться в страну свифтовских лилипутов. Идешь по городу — и почти все ниже тебя чтоб! Чтоб на двух Гулливеров десять лилипутов приходилось! Ничего не знаю — мы должны демографически взорваться! В крошечной тьме! Как вселенная во время зарождения — из маленькой точки (вот где доказательство, что все из ничего возможно). Да и дело-то по производству новых людей, как пишут, крайне приятное. Время придет — испытаю на себе. Неужели лучше меда или трех ведер картошки с лунки? Быть не может.

Дальше так: трое детей — серьезные льготы и пособия, четверо — никаких преференций вообще, а вот пятеро — колоссальные привилегии и деньги. Немыслимые просто! Свои у тебя дети, чужие — не имеет значения. Так за год все детдома опустошим. О! Стариков приравняем к детям. Точно! Как у нас говорят? Что стар, что млад, говорят. Стало быть, дети равны старикам. Хочешь — воспитывай ребенка из детдома, хочешь — рожай своего, а хочешь — старика на поруки бери. Никаких домов престарелых, позорища этого, не потерпим! Знаю даже, кого ответственными за это дело назначим. Лесных братьев кавказского происхождения. У них в крови ненависть к детдомам и уважение к старшим.

10

Огрызкин и Буриков болтали через решетку. Ракитянский не принимал участия в разговоре. Выпав из диалога в какой-то момент и погрузившись в себя, он уже никого вокруг не слышал. Ребята его не дергали, знали — не любит, сам к ним обратиться, когда сочтет нужным. Ракитянский с детства держался особняком, а в последний год, когда в его голове завелись мрачные мысли, увеличил расстояние между собой и товарищами на пару световых лет. В таком поведении не было ничего от высокомерия или стремления к одиночеству. Давным-давно Ракитянский был назначен командиром, старшим дома, которого учили держать с подчиненными дистанцию, быть товарищам старшим братом, но не панибратом. Юный командир, как заведено, отгородил себе отдельную комнату-канцелярию, в которой никто не смел его трогать. Таким помещением стал мозг. Когда ребята видели, что Ракитянский уходит в себя и замыкается — его не беспокоили.

Толе было всего пять лет, когда его сделали первым среди равных. Это случилось на исходе осени. На самом краю одного из полигонов мальчик увидел запутавшегося в колючей проволоке зайца. Малыш не стал звать взрослых. С большим трудом, голыми, неумелыми еще руками он сумел самостоятельно освободить издыхавшего косога. Потом поднял семикилограммового, разжиревшего за лето русака, чтобы отнести его в полевой госпиталь, но, не сделав и пяти шагов, повалился наземь — не по возрасту оказалась ноша. Делать нечего — Толя ухватил раненого за ухо и молча пополз с ним через поле. Получалось неплохо — пузо пятилетнего санитаря еще не забыло времена, когда для перемещения было совсем необязательно уметь ходить. Изрезанные проволокой ладони пластуна кровоточили и саднили. Линии жизни на них были продолжены едва ли не до локтя и разветвлены, как генеалогическое древо. Несмотря на боль и напряжение физических и душевных сил, Толя не издал ни звука. Ртом. Подчинять своей воле попу кроха тогда еще не умел.

За мальчиком с самого начала спасоперации наблюдал один из воспитателей. Он и прервал подвиг двухвершкового героя, когда тот, загребая ногами и свободной рукой, преодолел аж пятнадцать метров пути. Как атлант, подхватил наставник ползущих и понес их в госпиталь, улыбнувшись про себя, что в 1941-м тире 1945-м такие великаны, как он, пришлось бы как нельзя кстати...

— Че с посевами, интересно? — спросил Огрызкин у Бурикова. — Такой град прошел.

— Не знаем пока, — был ответ. — Глянем на рассвете.

— А-а, че там смотреть, — обреченно махнул рукой Огрызкин. — Мы теперь хищники на целый год. Мясо, фаршированное мясом, на завтрак, обед и ужин... Вот же хотел стать травоядным, — неожиданно даже для себя вдруг заявил Огрызкин, —

так ведь небо не дало, сам, можно сказать, Бог. — Перст архиплута вонзился туда, откуда, по его мнению, пришел отказ насчет вегетарианства.

— Ты что — правда хотел одними злаками да овощами питаться? — улынулся Буриков. — Нет, правда?

— Хренавда, — брякнул Огрызкин. — Около тыщи раз те говорено, что нет правды на Большой земле, куда тя, дурака, кода-нить выпнут. Есть слово «в натуре». В на-ту-ре. Ты в натуре хотел одними злаками да овощами питаться? Так спрашивать надо. Финский с египетским штудируете, а родного сленга не знаете. Словарь базара на что?! Четырехтомник для кого писан?! Для одного меня?! Я че — на Большой земле при каждом из вас переводчиком состоять должен?! Тебе объясняю: классический русский — это уже мертвый, как я понял, язык. Что-то вроде латыни.

— Да ну, — не поверил Буриков. — Это все домыслы твои.

— Ниче не домыслы. Во время града третий глаз у меня открылся.

— Где?

— Где, где — где звезда у царевны горит. Фонарик включи — сам увидишь!

— Фонарь на синяк напоролся, — осветив лоб друга, констатировал Буриков. — И глаза — ну, которые обычные — заплывшие.

— Издержки прозорливости, — миг нашелся Огрызкин. — Когда третий глаз открывается, два обычных захлопываются, вон хоть Вангу вспомни... Говорю тебе — скоро вообще сократят часы русского до минимума или вообще предмет такой уберут. В Минобразования тоже не дураки сидят. Зачем народные деньги на дохлятинку переводить, если ту же физкультуру допчасами усилить можно, мускулы нации нарастить? Вот увидишь — волейбол вместо «жи-ши» будет, хоккей вместо «тяться». — Огрызкин сплюнул с досады, и при всем желании нельзя было определить, положением русского он недоволен или физкультуры. — Ладно, че в городе нового?

— Ребята с весеннего конца ракету взялись строить, в космос собрались, до конечной остановки Солнечной системы, на Плутон! — восторженно, на одном дыхании выпалил всегда романтично настроенный Буриков, при этом его глаза даже как будто вспыхнули в темноте зеленым инопланетным светом, как у обычной кошки. — И знаешь, где материалы взя...

— Отчизна в лаптях ходит, — перебил Огрызкин, ничуть не заинтересовавшись происхождением материалов, — из колодцев-журавлей пьет, автомобилям ума дать не может, дуракам да дорогам с Гоголя еще, а они за раке-е-еты, на Плуто-о-он... Кто, говоришь, главным конструктором у них? Под Королева кто, э-э, косит?

— Макс Карамашев подвизается.

— А, знаю-знаю... Вызову его, как с карцера выйду.

— Куда?

— На дуэль, куда, — пояснил Огрызкин. — Пристрелю инженера, чтоб ребят, э-э, пацанов не смущал. Отправлю без пересадок туда, куда его душа так рвется... Плутон ему, видите ли, нужен. А в цветнометаллургический Бесицинск, скажу, не хочешь? В буроугольный Первопердовск? Легкопромышленный Ухлюпинск? Нога человека там, может, и ступала, зато конь не валялся. Осваивай — первым станешь, как ай да Юрий. И все у тебя, скажу Карамашеву, как в космосах будет. Вместо воздуха — выхлопы машин. Познаешь, скажу, и невесомость, когда зарядят тебе под зад за то, что не проставился при посадке.

— Проставился? — удивился Буриков. — Как это?

— Не проставишься — узнаешь! — психанул Огрызкин. — Опять на факультативах по русским обычаям в облаках витаешь, Монтестье своего обдумываешь. Вот зачем те Монтестье? Он те че — кум, сват, брат?! Сгинешь же задарма с философией своей, горе ты луковое! — Огрызкин покачал головой от расстройства за не умею-

щего жить товарища. — А ну повторяй за мной! Между первой и второй промежуток небольшой! Нас имеют — мы крепчаем! Наглость — второе счастье! Не мы такие — жизнь такая! — Огрызкин шмякнул по воде. — Не отсебятину горожу — из словаря современных выражений цитирую!

Ракитянский краем уха слышал разговор друзей. Ему не надо было особо вникать в их диалог, чтобы понять, у кого что болит и кто куда клонит. Он знал ребят как облупленных — с пеленок же вместе. Так шофер может преспокойно думать о своем под знакомую песню по радио, но спроси его, какие следующие слова в играющей фоном композиции, и он без колебаний их напоеет. Почувствовав, что один из друзей вот-вот подомнет другого, Ракитянский тотчас вышел из себя (в смысле из задумчивости). В Огрызкина сверху полетела вышелушенная прошлогодняя шишка.

— Блин, за что опять? — потеряв макушку, обиженно спросил Огрызкин.

— Увлекся ты, брат, — объяснил Ракитянский.

— Че увлекся-то, ниче не увлекся, — сказал плут. — Просто учу Бурикова поведению в народных массах, чтоб его за шпиона не приняли, за неруся.

— А мне сдается, что ты учишь Илью прогибаться под народ, опускаться до него, где надо и не надо.

— Вот же не любишь ты народ, Анатолий, положим, Алексеич, — уколола Ракитянского, судя по всему, уже рыба-меч. — Я за тобой это давно-о приметил. Ты ж народа не нюхал даже. Только по рассказам наставников, газетам да романам выводов о нем и настроил. И ведь все лучшее отмел, худшее запомнил... Нет, не любишь ты народ, Толя, не любишь...

— Когда отец наказывает детей за проступки, он их разве не любит? — отразил Ракитянский. — Когда он у проказников на поводу не идет? Не закрывает глаза на их пакости?

— Уж не отцом ли нации ты себя возомнил, Анатолий, допустим, Кириллыч? — размахнулась в своем море-окияне рыба-молот и ударила наотмашь: — Отчим имя тебе!

— Интересно, что же, по-твоему, не так во мне? — криво усмехнулся Ракитянский.

— Радости в тебе нет от поприща, нам уготованного, — заявил Огрызкин и, подложив руки под голову, разлегся на водном матрасе. — Ты ж в народ, как на Голгофу, пойдешь. Мука это для тебя. Иглы под ногти. Падение капель в одну точку на темечке. Для тебя служение России — претяжкий долг. Счастливым ты не будешь, нет. Ты будешь с трудом вставать по утрам, запрягаться в бурлацкую лямку и уныло тащить баржу. — Огрызкин ударил руками по воде, как веслами, и ушел в короткое плавание. — С чего ты взял, что государева служба — это тяжело, скучно, грустно?

— А чему веселиться-то? — спросил Ракитянский. — Бюджетники, к примеру, еле концы с концами сводят. Вот как им заработные платы поднять?

— Сокращать сперва научись, — хохотнув, посоветовал Огрызкин.

— Не понял.

— Заработную плату до зарплаты, — пояснил плут. — Ты ж говоришь как устный бюрократ. В два слова, когда одного довольно. А устный бюрократ — предтеча бумажного. Бюрократия — вот главная проблема Большой земли. Сперва ее реши, а потом за зарплаты берись.

— Если я устный бюрократ, — хмыкнул Ракитянский, — то кто тогда ты, помело лесное?

— Тот, кто не побоится тебе сказать, что не с повышения зарплат начинать надо. Статус бюджетников первым долгом подыми. Их же уважать перестали, потому что в 90-е статус стал зависеть от количества денег в мошне.

— Дурак ты, Огрызкин. Бюджетникам не до статуса. Им есть нечего!

— Ну не перемерли же, — спокойно парировал арестант. — Потому что не хлебом единым живут. Сейчас у бюджетников, знаешь, что идет? Величайший пост длиной в полтора десятилетия. У них теперь такая духовная сила, что как бы чудеса творить не начали, исцелять людей прикосновением. А ты им утробы поскорее хочешь набить. Знаешь, че бывает, когда человек долго не ест, а потом обожрется?! Заворот кишок! Ты что, гад, смерти лучших людей желаешь?! — в сердцах вскричал Огрызкин, утратив контроль над собой, однако все же не настолько, чтобы забыть отметить, какой он все-таки умница: заложил такой опасный вираж на повороте мысли и при этом не вылетел в кювет. — Сначала сделай бюджетников кастой брахманов, новейшими дворянами, випами. Педагог, врач, библиотекарь — не профессии, а титулы. А князя да графья, они ж и в рубище князя да графья. Дюжину лет положи на социальную рекламу в Интернете и на ТВ. «Бедный учитель выше олигарха!» — на знамени эпохи начертай!

— Гаси фантазию!

— Не извесь тебе! — бросил Огрызкин и продолжил: — Дай бюджетникам кучу предпочтений. На тех же выборах, допустим. У чиновника пусть один голос будет, у бюджетника — столько голосов, сколько лет он в школе или больнице проработал. Сразу и почитаемыми учителя с врачами станут, и власть выберут нормальную. Не переживай — голоса бюджетников в целом хорошо поставлены, умный они контингент, споют, как надо, петуха в бюллетенях не дадут. Чистейшие басы, баритоны, контральто и теноры из урн вынешь. Накидываю дальше. Издай закон «О поясных поклонах при встрече с бюджетником». Пусть всяк, как лист, складывается пополам при виде хирурга или, там, учителя химии. Идет педагог, а ему навстречу не люди — страусы в испуге. Крестьяне перед барами до отмены крепостного права! Загни всех раком — не бойся! А потом все само собой пойдет!

— Томас Мор! — бросил Ракитянский. — Не утопленником — так утопистом за ночь стал!

— Сам ты Фурье, Сен-Симон и иже с ними! — огрызнулся Огрызкин.

— Тише, тише, братья, — вмешался Буриков. — Ну что вы, в самом деле? Прекратите уже.

— Нет, я не прекращу, — сказал Ракитянский. — Огрызкин опасен. Ты в курсе, Илья, что он выдал на тайной вечерке?

— То ж версия была, — запротестовал Огрызкин. — От слова «сомневаюсь».

— Ой ли, — покачал головой Ракитянский.

— Евой клянусь!

— Кем?!

— Прамамой, — расшифровал Огрызкин. — Мать не знал, прамамой клянусь!

— А ну тебя, горе-горец, — махнул рукой Ракитянский, перевернулся на решетке с живота на спину, чтобы только не видеть Огрызкина, и обратился к Бурикову: — Ты вот, Ильяха, не знаешь, почему у нас промышленность стоит, а наш Огрызкин в курсе. Промышленность у нас, оказывается, под парами. Ага, отдыхает, как пашня, чтоб ты знал. Получается, вроде как и не стоит производство вовсе, а совсем даже восстанавливается после работы в СССР. И за это, по словам Огрызкина, мы должны 90-м еще и поклон отбить. Но это еще не все, далеко не все.

— Не продолжай! — воскликнул Буриков и с восторгом распыл себя на карцерной решетке к тайге задом, яме передом. — Дальше Огрызкин наверняка про экологию речь завел! Стоят заводы — не загрязняется земля, воздух, вода — так?! Ведь про экологию же ты говорил, Сережка?!

— Истинный крест, — подтвердил снизу Огрызкин, торжественно посолив щепотью лоб, пуп и плечи справа налево.

— Да ну ты, — усмехнулся Ракитянский. — У тебя ни слова про экологию не было. Ты нам все про какую-то усталость металла плел, про конец эры подсечно-огневой экономики.

— Все так, все так, — не стал спорить Огрызкин, а дальше начал работать экспромтом, придумывая на ходу: — Да, я напрямую не говорил про экологию... Не говорил, да... Но я, э-э, подводил к ней, — тянул Огрызкин время, придумывая, что бы сказать, и таки придумал, стерва: — Вы ж народ-то темный — ну чисто ветхозаветные иудеи. Не дозрели вы еще до новозаветного «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих и гонящих вас». А вот ветхозаветное «око за око, зуб за зуб» — это вы поймете. Вот я вам, если говорить образно, и молол про усталость металла, подсечно-огневую экономику, потому что до экологии вы еще не доросли. Вот как вам сказать в лоб, что в России промышленность потому поднять не могут, что Бог не велит. Что огромная территория, которой мы владеем, запланирована под рай, зафрахтована Господом, словно ковчег, для спасения человечества. И что главная задача россиян — максимально не замусорить природу. А с заводами да фабриками — конец же эдему, в клоаку природа превратится... Ты ж вот, Толян, думаешь, что наши люди не хотят и не умеют работать. А они, может, сами того не осознавая, сад для грядущих поколений блюдут.

Тут Огрызкин почувствовал, что несет уже даже не чушь, а прямо непотребное, и, к чести парня надо сказать, попытался заткнуть рот пробкой воли. Куда там — разве взболтанное шампанское удержишь в бутылке?! В общем, чопик воли вылетел со свистом, и сточные речи лесного проходимца вновь полились в уши товарищей, как в септики. Дошло до того, что былинный богатырь Илья Муромец, оказывается, вовсе не был обезножен, а валялся на печи до возраста Христа по идейным соображениям. Огрызкин не удержался и окрестил его первым преславным трутнем Отечества, прозревшим национальную идею на заре русской государственности и вставшим на защиту границы единственно для того, чтобы поганые печенег и дальше не мешали зарастать Отчизне разнообразной флорой. Как ни больно было Огрызкину, но в какой-то момент пришлось предать анафеме даже Петра Великого, который потворствовал строительству заводов и дал отмашку на вырубку деревьев сосновых, еловых и можжевельников для украшения проезжих улиц и домов к Новому году.

11

Охламон до того увлекся, что не заметил, как ему на голову полилась вода. Но уже не пресная, а соленая. Спешу успокоить читателя. Несмотря на страшное негодование, вызванное речью Огрызкина, жидкость носила безобидный характер. Это был просто пот. Сначала — холодный (от внезапного появления еще одного слушателя), потом — горячий (от интенсивных отжиманий).

Между Ракитянским и Буриковым, выжимавшими тела над Огрызкинским, стоял военный, гражданский, художественный, бессменный и всякий другой руководитель дома № 11 по улице имени генералиссимуса юмора, капитана сатиры и рядового сарказма А. В. Маслякова.

Поджарого сорокадвухлетнего мужчину с взглядом секутора римского легиона, осанкой осинового кола и носом человека, никогда не остающегося с носом, звали Василием Владимировичем Дроботом. Читатель познакомился с ним в первых главах романа. Это был тот самый офицер ФСБ, который отвечал за набор кадров в таежный город и счел своим долгом отправиться в глухомань вместе с другими участ-

никами эксперимента. Таких, как Василий Дробот, в курсантской среде называли дядьками. В их задачу входило воспитание мальчиков по специально разработанной системе, в суровости которой у читателя уже было время убедиться. Ни один из курсантов не видел, чтобы Василий Владимирович когда-нибудь кого-нибудь приласкал или похвалил. «Мое поощрение — это отсутствие наказания» было выбито над входом в двухэтажный коттедж № 11.

Любил ли Василий Владимирович подопечных? Вне всяких сомнений. Но его чувство никогда не проявлялось открыто. Курсант, достигавший успехов в учебе или поведении, вместо одобрения слышал: «Ты сам поставил и взял высокую планку. Опустить ее хоть на миллиметр — будешь наказан. Не поднимешь в течение месяца — опять же молись». Да простит мне читатель столь смелое сравнение, но любовь дядьки к мальчикам чем-то походила на любовь Бога к людям, которую, как известно, не так-то просто почувствовать — особенно грешникам. Но курсанты — люди в большинстве своем светлые и чистые — ощущали любовь воспитателя. Она была в самой атмосфере дома с перевернутым, примирившим небо с землей знаком «равно» на входной табличке — дома № 11.

Что и говорить — от дядькиной любви совсем не веяло нежностью и теплом. Она вселяла страх в сердца курсантов. При появлении Дробота даже у самых смелых юношей порой начинало сосать под ложечкой — прям как у святых угодников в тот момент земного существования, когда Господь, скажем так, удостаивал их чести перейти из разряда «слепо верующих» в разряд «точно знающих». Но это, как уже понял читатель, был страх особого порядка, коему имя — священный трепет. Испытывая его, курсанты все же не сомневались в глубине и силе излучаемой дядькой любви, как даже насмерть перепуганные Богоявлением праведники не сомневались, что Господь питает к ним такое чувство, перед которым хваленое материнское так — не более чем симпатия.

Тайга очень изменила офицера ФСБ Василия Дробота. В лучшую сторону. Среди кедров ему не было нужды опасаться, что впереди могут ждать задания, государственная необходимость которых (истинная или мнимая) несовместима с нормами человеческой морали. Надо сказать, что, будучи по природе человеком честным и порядочным, человеком, мечтавшим о славе Рихарда Зорге, на Большой земле он только и боялся, что приказов а-ля Берия, которые всегда были, есть и будут частью службы в госбезопасности.

В глухомани мужское начало постепенно заострилось в Василии Дроботе, как нос глубокого старика. Так случилось не только с ним. За труднопроходимые годы в тайге почти все городские жители стали напоминать героев былин, мифов, легенд и саг. Пройдешь по Абрикосовой и увидишь, как некий напрокудивший Геракл чистит городские Авгиевы конюшни. Свернешь на Виноградную и наткнешься на какого-нибудь осьмнадцатилетнего богатыря средней руки Никиту Кожемяку, наминающего бока то ли Ромулу, то ли Рему — поди разбери этих близнецов.

Что касается Василия Владимировича, то через пять лет после высадки в сибирском лесу он одичал до стадии «человека естественного» и стал изрядно смахивать на викинга. К высокому росту, светлым волосам и голубым глазам добавились звериная сила, выносливость, стойкость, неприхотливость, жажда открытий и смерти не в постели. И кто его знает, почему произошла именно такая трансформация. Давайте на гены сошлемся, почему нет? Ведь древние скандинавы, как мы знаем, были частыми гостями на Руси, и могло запросто так случиться, что на пути из варяг в греки какой-нибудь фанат Одина снасильничал поклонницу Перуна — пра(ставим приставку на долгий повтор)бабку нашего героя. До полноценного викинга Дроботу недоставало разве что жестокости. А ведь в детстве сорванец му-

чил кошек, и еще как. Спрашивается, куда подевалось жестокосердие? Тут, слава богу, к пра(снова заевшая пластинка)бабке ходить не надо. Заглянем к отцу нашего героя. Именно он при помощи португали в свое время купировал живодерскую жестокость Васьки до жесткости, как хвост доберману. Ну да дело прошлое. И пусть Дробот не дотягивал до норманна по изуверству, зато усы отрастил в тайге, как у истинного варяга, подковой. Ее концы были направлены книзу, из чего можно было сделать вывод, что счастья, курсанты, не ждите. И так оно, надо сказать, и было.

— Буриков, о чем задумался? — задал вопрос Дробот, увидев, как парень снизил темп отжиманий до воздушно-десантного.

— О России, — был ответ.

— Конкретнее.

— Да вот думаю, кто она по знаку зодиака.

— И?

— По всем признакам — Рыбы на стыке с Водолеем.

— Это наш одноглазый в точку, Василий Владимирович, — вмешался из карцера Огрызкин. — В другой раз бы поспорил, а нынче не стану. Приятно, знаете ли, осознавать, что сижу я в затопленном погребе не абы как, а в ногу со временем, осваиваю, можно сказать, обозначенное Буриковым зодиакальное пограничье. Хотя че там особо осваивать? Что в Рыбах, что в Водолее — вода на воде и водой погоняет. Как выйду, может, даже астрологический трактат об этом напишу.

— Жду шедевра. Главное, лей побольше воды на воде, графоман, — посоветовал Дробот и вернулся к Бурикову: — Вообще-то за Рыбами, сколь мне известно, идет Овен, а не Водолей.

— Я ж не о месячных циклах, Василий Владимирович, — сказал Буриков. — О тысячелетних же. Эра Рыб исчерпала себя. На брег они выброшены, ртом воздух хватают. Но Водолей не даст им бесследно пропасть. Он уже занес над ними кувшин с волшебным океаном. Рыбам вскоре предстоит жить в совершенно другой среде. Они и сами, приспосабливаясь к новым условиям, изменятся... Братья! Мы на пороге новой эпохи. Эпохи духовных открытий, добра и самопожертвования, где всяк будет любить ближнего не как себя, но больше себя в четыре, а самые отъявленные — в пять, а то и в шесть-семь раз. Вы не поверите, но даже соревнования по любви появятся. Что-то типа бега на разные дистанции. Сразу говорю, спринт будет не в чести, потому что хоть и яркий, смотрибельный, да быстро кончается. Не любовь — страстью, скорей всего, такой бег нарекут.

Королевская же дистанция — марафон. Эдакие состязания по долгой любви к людям с открытием второго, третьего, четырнадцатого дыханий и взвинчиванием темпа во время них. И будет неважно, двадцать ты лет пробежал или восемьдесят семь. Важно будет не сколько, а как. Нет, это понятно, что в первые столетия Водолея на марафонскую дистанцию смогут бегать только самые сильные и выносливые.

Спрашивается, что будут делать бесчисленные те, у кого желание любить большое, а способности к этому средние? Правильно — они начнут выбирать спринт! Но не просто короткометражный бег, который я недавно страстью условно окрестил, а бег с препятствиями, который уже есть — да! да! — самая настоящая любовь. Пожалуйста, не ухаживай до конца жизни за парализованным (первое препятствие), агрессивным (второй барьер) дауном. Но семь лет — будь добр. Тьфу, а не срок, правда же? Стометровка та же. А потом, значит, передай эстафетную палочку свежему бегуну, чтоб командный дух и все такое. Уверен, вы сейчас наверняка думаете, что этот Буриков наивный идиот, что верит он в розовую эпоху, в которой нет места злу. Черта с два! Не угадали вы ни со мной, ни с эпохой! В эре Водолея никакой дискриминации по нравственному признаку не будет, понятно вам?! В ней всем, чтоб вы

знали, места хватит! И злу в том числе — чем оно хуже добра?! Да еще какому злу! — воскликнул Буриков с таким восторгом, что сам Люцифер разинул варежку и выпустил ухо шкодливого бесенка, третьего дня убавившего огонь в адских конфорках и организовавшего побег двух клептоманов в рай. — Такого зла еще отродясь не видели! Широчайший ассортимент. От неприкрытого зла-презла до зла, похожего на образцово-показательное добро, как Христос на отчима Иосифа — ну, в том смысле, что вроде родственники, а на самом деле — нет. Ну согласитесь же, друзья, что будет жутко интересно жить с грядущими брендами от лукавого, — расплывшись в улыбке, призвал Буриков разделить его мнение, что скука рядом со злом качественно нового уровня невозможна по определению (как будто с более примитивным злом эпохи Рыб, прошу прощения за вмешательство, человечество прямо иззевалось, ага). — Так вот, полагаю, Россия начала переступать порог эры Водолея еще в 90-х, только на радостях под ноги-то не глядела, споткнулась и распласталась. Лежит пока, березовая наша, поленом. Но я уверен — встанет она, братья!

— Только сначала поотжимается, как ты, чтоб заплатить по счетам и бицепсы нарастить, — устав от идеалистических бредней, сказал дядька. — Активней землю толкай, мечтатель в перьях! Вечно отвлекаетесь на страну, как на девицу. Лучше бы учились.

Тут из карцера донеслась очередь булькающих звуков, как будто в нем закипела вода.

— Это кто там пузыри пустил?! — грозно спросил Дробот. — Ты, колодник?!

— Никак нет, — отрапортовал Огрызкин. — Полагаю, газ из земли вышел. Явление в природе довольно распространенное.

— Это в забетонированной-то яме?

— Газ, как мышь, найдет щель.

— Молись, чтоб он мне в нос не ударил и не выдал твое тухлое нутро. Ведь врешь же. Знаю — врешь.

— Обвинения ваши, Василий Владимирович, беспочвенные, — ответствовала хитрая рожа, в темноте карцера разгоня тельняшкой газ, имевший к земле точно такое же отношение, как цыгане к оседлости. — Всё гнобите меня, зато я, по крайней мере, не озабоченный, о России день и ночь не думаю, как Буриков. А прикажете — могу вообще о ней не думать и других науч...

— Комфортно тебе там, смотрю, — перебил дядька, почуввав подкоп под святыни. — Пора, наверно, из карцера в тюрьму переводить. Уж чья бы корова про озабоченность мычала, а твоя бы припухла. Забыл, за что в темную брошен? Или, может, я женщину, похожую на мужика, слепил и напоказ выставил?

— Ну волк же на волчицу похож, — заметил Огрызкин. — Пока под хвост не заглянешь, и не определишь подчас, сука перед тобой или кобель. Наверняка с людьми так же. Нас же общества женского лишили, остается додумывать, как баба выглядит... А скульптуру я чин чинарем слепил: на груди — полушария, волосы — до пояса, зарослей на бороде нет. Все как в книгах, не придерешься... Да, я сорвал занятия. Да, сорвал! Зато теперь ребята имеют представление о прекрасной половине человечества. То есть даже о половине с лишним — женщин же больше.

— Вот именно — ты сорвал занятия, за что и наказан, — пригвоздил Дробот, чтобы Огрызкин не сомневался, что в карцер он попал отнюдь не за искусство. — Но и про Афродиту твою скажу, что на Афродиту она вовсе не похожа. Это пародия на Афродиту, чтоб ты знал. Это сантехник с титями, хренов ты ваятель. Таких женщин, как у тебя, на Большой земле нет.

— Сейчас, может, и нет, — не стал спорить пройдоха. — Но то, что моя женщина похожа на мужчину, плюс мне как скульптору. Не погрешил я в глине против ис-

тины, прозрел будущее, считаю. Леди тридцатого века сотворил. Возможно, в настоящее время женщина все еще похожа на женщину, хотя мне трудно судить — ни одну не видел. Но ведь только же внешне похожа. Дух-то уже мужской, насколько мне из литературы известно. Феминизм, эмансипация и т. д. А от духа и до телесной эволюции недалеко — дайте срок. На это вы можете сказать, что большинство женщин на феминизм и прочее не повелись. Пусть так, но сильные-то повелись! А именно они выживают и дают здоровое и крепкое потомство. Законы природы никто не отменял. Горстка пассионариев в юбках распространили новую идеологию на весь мир, разве не так? И ведь шустро управились. За сто лет примерно. — Тут в Огрызкинине впервые ворохнулось что-то либерально-толерантное, как недоразвитый человек в материнском чреве. — Неудобно говорить, но на защите женственности ныне только геи активно стоят, про парады их вся тайга читала. Ага, даже флаг свой имеют. Радугу, пишут, к древку пришпандорили. Вот как на нее теперь смотреть?! — в сердцах бросил Огрызкин, как будто созерцание разноцветного коромысла в небе было его единственной радостью в жизни, а теперь все — не полюбуешься.

— Эй, противогей, — прервал Дробот тираду Огрызкина. — Вот только не тебе про нравственность чесать. Давай-ка лучше отожмись раз эдак девятьсот девяносто девять.

— А почему не тыщу? — удивился сиделец.

— А не хочу, чтоб тебя в будущем в магазинах за дурака держали.

— Не понял.

— Время придет — поймешь... Упор лежа принять!

— На воде-то?

— А у тебя выбор есть, контрагейка?! — рявкнул Дробот.

Отжималась троица. Ракитянский и Буриков качались как следует. Огрызкин же нелепо барахтался булками кверху и проклинал воду за то, что ночью она не превратилась в лед — субстанцию, как известно, более приспособленную для отжиманий. И вот ведь как будто не было до этого у измерзшего парня отчаянной борьбы за живучесть и лишь одного желания — юркнуть в мартеновскую печь и задрать за собой заслонку, чтобы не выстужать топку.

Дробот молча наблюдал за подопечными и думал о том, что на Большой земле самая большая опасность для парней будет исходить, безусловно, от женщин, о которых все чаще стал гудеть половозрелый курсантский люд. Дядька искренне желал, чтобы парни влюбились в уродок. Дробот по опыту знал, что страшные, обделенные вниманием женщины не закатывают скандалов, не требуют внимания и золотых гор. Ошарашенные нежданым семейным счастьем, они до конца дней заглядывают в рот тем, кто их выбрал, и даже с соперницами сражаются тихо и трогательно: вкусными домашними котлетами, запотевшей в холодильнике водкой, идеальными стрелками на мужних брюках, реанимационной чистой квартиры и умными, все-в-отца детьми.

Красавицы же, не сомневался Дробот, несут одни лишь опасности. Эти стонут не только в постели, требуют к себе повышенного внимания, склонны к изменам и интригам. В девяти случаях из десяти они не дадут выходцам из тайги спокойно выполнять воинский или гражданский долг, а то и вовсе развратят юношей.

Дробот надеялся, что после окончания лесного курса парни быстро западут на страшилищ, переженятся и займутся делом, для которого их готовили. Дядька находил, что, слава богу, так оно, скорей всего, и будет, ведь у юношей совсем нет вкуса в отношении женщин — ему просто не на ком было сформироваться. У ребят начисто отсутствуют собственные понятия о женской красоте, не получили они и общественных представлений об идеале, а значит, утешал себя Дробот, при выборе супруги

лесные магистры будут руководствоваться прежде всего животным инстинктом продолжения рода. Как неандертальцы. В таком случае, не без радости заключил Дробот, у популярных на Большой земле женщин модельной внешности просто нет никаких шансов захомутать сибирячков, ведь с древности солитерная худоба и плоская грудь — синонимы болезни, а одним смазливym личиком, извините, сыт не будешь. Вывод про смазливое лицо окончательно успокоил дядьку. А зря. Он явно забыл, что пусть красивые глаза, губы, носы и не способны накормить, зато могут с успехом лишить аппетита — при удачном сочетании друг с другом, конечно.

Сам Дробот, как и его коллеги по службе, о женщинах старался не думать. Воздержание давалось мужчинам нелегко, но они справлялись: во время бодрствования — на «отлично», во сне (попытайтесь не искать подтекста в следующей оценке) — на «удовлетворительно». В общем, хорошо справлялись, если вывести среднее арифметическое. Побеждать плоть помогали возведенные в культ спортивные, трудовые и умственные перегрузки, отсутствие сексуальных раздражителей и постоянные стрессы, связанные с выполнением учебных сверхзадач. Когда же становилось совсем невмоготу, мужчины начинали сублимировать — да так энергично, что это нередко приводило к брусилевским прорывам в научно-образовательной и культурно-воспитательной работе. Поразительно, но именно во многом благодаря озабоченным кадрам, научившимся переплавлять похоть в творчество, концентрация гениальности на метр городской площади уже к середине Сибириады превысила все допустимые нормы, и слово «эврика!» в лесу стало столь же расхожим, как «ну», «короч», «капец» и «блин» на Большой земле. Светское монашество, в отличие от обычного, не подавляло сексуальный инстинкт, а поставило его на службу общему делу.

Дядька посмотрел на отжимавшихся парней. Никто из них не филонил. Даже Огрызкин не сачковал — имитировал упражнение, как мог.

И вдруг щемящее чувство жалости к юношам захлестнуло строгого наставника. И дело было совсем не в том, что Дробот заметил на лицах курсантов признаки усталости — физические упражнения еще никого не убили. Нет, причина жалости крылась в другом. Вытекала она из недавних мыслей Василия Владимировича о женщинах.

«Какие же из парней выйдут граждане, — думал Дробот, — если они не знали ни материнской, ни первой любви, никого не дергали за косы, не таскали девичьих портфелей? Что даст им выстоять в час испытаний? Ни мам, ни Маш из первого „К“ у них нет. Кто придаст ребятам сил? Вдохновит их на бой и труд? Невский?! Лихачев?! Скобелев?! Ломоносов?! Ну уж нет, — горько усмехнулся про себя Дробот, едва не добавив „только не эти“. — Кутузов, Менделеев, Рокоссовский, Капица всегда шли только в нагрузку к мамам и Машам, лишь в нагрузку. Еще ни один мужчина перед тем, как стать выключателем света во вражеском дзоте, не воодушевился суворовским переходом через Альпы, не вспомнил про речь Хрущева на двадцатом съезде. Любящие мамы и вредные Машки — вот кто являются подлинными творцами героев, даже если мамка простая прачка, а Машке семь лет».

Из всех этих мыслей одна для Дробота была особенно болезненной. Про первый «К». Она не являлась для дядьки проходной, не случайно пришла ему в голову. Дело в том, что Дробот начал учебу именно в первом «К». С годами менялась только цифра, буква же прокочевала с Васькой до выпускного класса.

— Эх, какие были времена, какие времена, — закончив с мамами и Машами, взялся дядька ворошить советское прошлое.

Нетрудно догадаться, что времена для Дробота были все из себя замечательные.

— Одних только детей, — ностальгировал он, — водилось в СССР столько, что, будучи первоклашкой, я мог, стоя у доски, на ура перечислить добрую половину

алфавита не по букварю, а по друзьям-товарищам из параллели — пусть и несколько вразнобой.

Буква «К» в полном названии школьного класса даже представилась Дроботу ни много ни мало — символом многодетности, знаменем бэби-бума, индикатором здорового микроклимата в семьях и макроклимата в стране.

В 90-е же, — позволим себе домыслить за нашего героя, — в русскую землю, намечая контуры будущей демографической ямы, воткнулись первые лопаты, и нынче буквой «К» в школах и не пахнет — повывелась ребятня, на «В» не наскребешь.

Так-то оно так, Василий Владимирович, только вспомни, сколько человек с тобой в первом «К» училось? Тридцать шесть — я специально пробил! Разве в такой орде получишь нормальное образование?! Ведь никакого же индивидуального подхода к ученику! Не кажется ли тебе, что было бы гораздо лучше, если бы ты учился не в старой 1228-й, а в новой 1229-й школе, которая в твоё распрекрасное советское время так и осталась на бумаге?! Ты ж в первом «Г» мог учиться, край — в «Д»! И твои однокашники прекрасно размещались бы на фотографии, стояли бы на ней не плечом, а грудью вперед! Не береди, короче, 90-е. И на них чье-то детство пришлось...

...Дядька вытер пот со лба и обвел взглядом своих, по его твердому убеждению, «совершенно железных подопечных». Особенно защемило сердце наставника при виде Огрызкина, превратившего отжимания на воде в клоунаду, мечтавшего о точке опоры так же, как грезил о ней Архимед, чтобы перевернуть Землю. Из-за того, что арестант был не менее, а быть может, даже более стальным, чем остальные, жалость Дробота неожиданно усилилась.

«Как бы не заржавел в мокроте», — на полном серьезе подумал наставник.

Хотите верьте, хотите нет, но температура воды в карцере волновала Дробота постольку-поскольку, хотя он помнил, что вчера прошел ливень с градом, а ночи в тайге прохладные даже летом. Дело в том, что курсантов с детства закаляли по системе Порфирия Иванова, и они не боялись низких температур. Понятно, что Огрызкин так же, как и все, прошел через ледяные обливания и лизания сосулек, поэтому у дядьки и мысли не возникало, что сиделец способен заоченеть, да еще в июле. А вот заржаветь, по убеждению Дробота, — так вполне. Железный же.

Неужели курсанты и впрямь были из металла? Да бросьте. Просто дядька неадекватный. Поживи-ка в небылице двенадцать с лишним лет — поди, еще не такой бред в голову замечать станет.

К слову, не только Дробот верил в то, что холод не может нанести Огрызкину серьезный ущерб. Ракитянский с Буриковым в этом тоже не сомневались — слишком уж пылок и горяч их друг. Для курсантов качества характера Огрызкина были такими же материальными, как желания для тех людей с материка, которые, вдохновившись фильмом «Секрет», обклеивали холодильники и двери туалетов визуализирующими ватманами с изображениями принцев, замков и Канар. В общем, по мнению Ракитянского и Бурикова, Огрызкин как бы должен был отапливаться пылкостью и горячностью. Но не только. В отличие от людей с Большой земли, друзья арестанта все же понимали, что современный человек еще слишком незрел, безнравствен и приземлен, чтобы у него получалось реализовывать свои желания, качества и способности без активных действий. Мечтаешь о квартире — работай не покладая рук, и будет тебе в итоге аж две: одна — для тела (со стандартной площадью два на два), другая — для души (с вечной пропиской). А хочешь согреться в карцере, на пылкость и горячность надейся, а сам не плошай — толки, пинай, меси воду. Чем узник бессовестности всю ночь и занимался — в том Ракитянский и Буриков были убеждены. Потому и замерз не насмерть, а всего лишь как зюзик — дело для тайги обычное.

Курсанты давно привыкли к различным видам физического дискомфорта и страдания: холодно да и холодно, голодно так голодно, вшиво, и что теперь. Одни ребята (более сильные и закаленные) переносили тяготы и лишения легко, другие (менее сильные и закаленные) — стойко. Нередко в ход шел юмор. Например, однажды на учениях танк закатал в траншею мальчика с Весеннего конца. Когда полуживого юнармейца откопали, первыми его словами были: «Никто из вас не знает родной земли по-настоящему. Только я и морковь». Через сутки парнишка с воинскими почестями едва вновь не проследовал туда, откуда его достали вместе с сокровенным знанием. Товарищи уже даже присматривали место для последнего окопа, но обошлось. Спасибо молодому организму и лесным докторам.

Раз уж на страницах рукописи всплыл нехреновый морж Порфирий Иванов, то надо сказать, что его систему Огрызкин толком так и не освоил, хоть и закалялся, как все. Так в школе каждый проходит геометрию, но не всякому она дается. Да, Сергун с детства щеголял босиком по морозу, обнимался со снежной бабой, но все же таки как был, так и остался мерзляком. Если бы за закалку ставили оценки, то Огрызкин не вылезал бы из троек, которых, однако, вполне хватало, чтобы не болеть в сибирские зимы или перекапываться в холодном карцере без ущерба для организма.

Итак, Дробот принял решение освободить арестанта условно-досрочно, но прямо это сделать не мог: дашь слабину — перестанут уважать, распоясаются, сядут на шею. Необходимо было схитрить, сделать так, чтобы узник сам признался, что в карцере ему не просто хорошо, а в сто раз лучше, чем на свободе. После чего, соответственно, отпустить на волю.

Задача предстояла препростая, потому что Огрызкин, как и все лесные юноши, воспитывался в духе презрения к боли и мукам. Суций спартанец. Правда, слегка недоделанный, так как не мог похвастать лаконичностью речи, которой, как мы помним, отличались лучшие воины Эллады.

Но это, опять же, с какой стороны посмотреть. К примеру, помести мы Огрызкина в Спарту времен царя Леонида — и он бы явил собой образец лаконика. Неудивительно, ведь его древнегреческий был плох — настолько из рук вон, что на занятиях по эллинскому поднимаемый для ответов юноша в основном молчал. Но отнюдь не в тряпочку. Глубокомысленно. Как Диоген.

В общем, под историческим углом зрения Огрызкин, несомненно, был вылитым спартанцем с философским даже уклоном, однако этот факт не спасал того еще древнего грека от регулярных пороков. Когда преподаватель античных языков раскладывал озорника на лавке, чтобы высечь его за убогий словарный запас, то всегда слышал одно и то же: «Перед тем как свершится экзекуция, в очередной раз напомню, что я единственный в классе носитель диалекта, на котором общались под Фермопилами. Нет моей вины в том, что лексикон спартанцев был скудным. Что многие слова (как то „трусость“, „предательство“, „назад“, „подлость“, „пулемет“, „кибервойна“) в языке героизма и мускул так вообще отсутствовали». Далее курсанта стабильно освистывала розга и купали в аплодисментах товарищи.

— Как сидится, скульптор? — приступил дядька, доподлинно зная, каким будет ответ.

— Шикарно, — не разочаровал Огрызкин.

— Так уж прям и шикарно?

— Не то слово.

— Как же так? — словно бы огорчился Дробот. — Вообще-то я тебя в карцер сажал, а не на престол. Надеялся, что в яме тебе будет максимально некомфортно. А тебе, выходит, хорошо.

— Не хорошо — превосходно, — поправил Огрызкин, продолжая гнуть традиционную для тайги геройскую линию.

— Ведь опять врешь. Как может быть превосходно в тесноте, а потом еще и сырости после дождичка-то в четверг?

— Да очень просто, ведь за четвергом последовала среда.

— Что ты мелешь? Какая среда?

— Благоприятная во всех отношениях, — разъяснил пройдоха. — Теснота и сырость — это ж среда материнской утробы, которая, между прочим, по уюту держит второе место после Христовой пазухи... Скажете, для матерного чрева недостает темноты.

— Матерного?!

— Сирота я, — напомнил Огрызкин. — Так вот скажете, для матерного чрева не хватает темноты. Отвечу — хватает! Даже с решеткой наверху хватает! И в светлое время суток? Да-да, и днем. Ну, если держать глаза закрытыми, конечно. То есть, проще говоря, спать, что я и делал, — сказал Огрызкин, но этого ему показалось мало, и он вызывающе добавил: — И все это, когда другие учились и работали.

— Ах ты, с... сын, — опешил Дробот от столкновения с доблестью и наглостью в одном флаконе. — И что — совсем на волю не тянет?

— Клянусь — был бы против, если б у темницы воды отошли.

— Я так и думал, что карцер для таких, как ты, не наказание. Это как если бы черта наказали преисподней, а мазохиста — плетью. Ты как черепаха — тебе везде дом родной. В общем, так...

В этот самый момент в ночной тиши раздались три хлопка, не дав Дроботу произнести слова об амнистии. Стоявшие в упоре лежа Ракитянский и Буриков синхронно припали грудью к решетке, пружинисто оттолкнулись от нее, зависли в воздухе и, резко перевернувшись, как подброшенные на сковородке блины, впились в небо: ну же, ну! И оно не разочаровало — ракетницы! Две красных, одна белая! Началось...

...Стартовали десятки военные игры...

— Ракитянский, Буриков — свободны, — проводив взглядом пущенные с земли кометы, произнес Дробот и обратился к арестанту со словами, подтверждавшими, что экс-офицеров госбезопасности не бывает: — А вас, Огрызкин, я попрошу остаться.

Стоит ли объяснять читателю, что значило для юных жителей города участие в зарнице. Пацанва есть пацанва. При слове «война» не то что мальчишки — взрослые мужики подчас набитыми дураками делаются, если, конечно, не прошли через фронтной ад. Огрызкин не прошел, поэтому Дроботу не надо было углубляться в душу курсанта и на полштыка, чтобы понять, что в ней теперь творится. Спору нет, к своим семнадцати годам парень нанюхался пороха будь здоров, но все же не боевого, а учебного, который лишь усиливает воинственность, вызывает не отторжение, а токсикоманию.

«Попалась, пиранья, — мысленно потирал руки наставник. — Сейчас посчитаю твои зубы, зашамкаешь у меня, как старик. Ума не приложу, как это я тебя за так хотел отпустить. Что за слабость такая на меня нашла? Это ж только мелкую рыбу по доброте душевной на волю отпускают. А ты у меня экземпляр крупный — сколько уже крючков и неводов порвал. Нет, брат, теперь все только под условия и гарантии».

12

Огрызкин высоко выпрыгнул из воды, как ватерполист перед броском, и вцепился в карцерную решетку правой рукой. Два пальца на левой (указательный и средний) тут же юркнули в одну из квадратных щелей и впились в ботинок стоявшего наверху Дробота.

— Василий Владимирович! — подтянувшись к решетке, взмолился сиделец новым протекторам на подошвах наставника.

— И не проси, — отрезал Дробот (содержание челобитной ему уже было заранее известно, какая уж тут тайна).

— Но Илью же с Толей отпустили!

— А че их держать? За то, что посетили тебя, отжались. Или ты хочешь, чтоб я их к тебе посадил на время Игр? Они вот, например, по отношению к тебе поступили как настоящие товарищи. А вот ты — настоящий ли им товарищ? Или гусь свинье?

— Вы же знаете!

— Не сомневался в тебе, — похвалил Дробот. — Тогда тебе наверняка приятно будет узнать, что твои товарищи определены в разведвзвод. Порадуйся за них. Козырная карта легла паре домов с нашей улицы. Когда еще такая ляжет? А никогда. На следующих Играх — это уж как пить дать — за нынешний бонус наш дом оставят на полевых работах. Полоть, поливать, пасти КРС будете. Думаю, не станешь спорить, что это вполне справедливая плата за возможность побывать разведчиками на юбилейных маневрах. Разведка — это же так весело. Просто весело, когда надо достать сведения о перемещениях противника. И очень весело, когда надо добыть языка. Вот твои товарищи как раз за языком-то и пойдут. Сведения достоверные, имею своего человека в штабе. Играем за «синих», если интересно. На главном направлении удара. От атаки. В общем, все, как вы любите... А ты посиди, подумай над своим поведением.

— Уже! — вскричал Огрызкин, совершенно потерявший голову от слов наставника.

— Так быстро?

— А неча тянуть! Свинтусом жил! Каюсь! Рву волосы на себе!

— Там у тебя рвать нечего, лысая башка. Пеньки одни.

— Я не про голову! — моментально нашелся Огрызкин.

— Про подмышки, что ли?

— Даже ниже!

— Это где это?

— Неудобно говорить!

— Шутить со мной вздумал, клоун?

— Что вы! — воскликнул арестант, которому действительно было не до шуток. — Показываю глубину раскаяния же! Марианскую! Потому и рву гнездо для яиц! В переносном смысле, конечно!

— В прямом давай.

— Руки заняты!

— Так отпусти.

— Уйдете же! — вырвалось у Огрызкина, который искренне верил, что пока он удерживает ботинок — дядька никуда не денется.

И вдруг пальцы узника стали предательски сползать с гладкой кожи башмака. Им на выручку сейчас же поспешила свободная нога наставника. Правая, кому нужны детали. Она придавила клешню Огрызкина с такой силой, что не возникало сомнений: в самом ближайшем будущем дневник курсанта пополнится новыми неудачами по сурдопереводу.

«И так проблемы с акцентом, — сморщившись, подумал узник, — а теперь наверняка еще и зашепелявлю».

В глазах Огрызкина помутнело, как в плохо законсервированной банке с огурцами. Он изогнулся на импровизированном турнике, как свежий червь на крючке, но данную себе установку выполнил — не сопроводил боль озвучкой. Русский Чаплин умел молчать на дыбе не хуже украинского Бульбы. Никакого героизма. Немая синема.

Как же таежный Чарли хотел вернуть пальцам ооченелость трехчасовой давности, которая сделала их нечувствительными — хоть руби! Курсант пожалел, что с приходом друзей, а потом и наставника так много двигался, что кровь разогналась по телу до такой скорости, что кое-где уже не вписывалась в повороты и вылетала за пределы трассы. Как уже наверняка догадался читатель, она выливалась из организма как раз в тех местах, до которых несколькими часами ранее вообще не дотекала — в районе указательного и среднего пальцев левой руки.

Между тем испытания только начались. Наставник полностью перенес вес тела на правую ногу и начал круговыми движениями ботинка ездить по пальцам курсанта, как танк по траншее, боящийся гранаты сзади. Над головой Огрызкина раздался хруст, как будто кто-то жрал капусту.

«Господи, пронеси», — взмолился про себя курсант, как будто то, что он сейчас перенес, было так — ромашки и лютики.

Как в воду глядел. Ромашки спрятались, поникли лютики, уступив место калинке-малинке. Правый ботинок Дробота оторвался от раздробленных пальцев, но только для того, чтобы через долю секунды прибить их к левому. Намертво. Огрызкин забился в конвульсиях, но не издал ни звука, потому что перед ударом успел предусмотрительно зажать в зубах заменитель палки — кость руки.

— Вот теперь точно никуда от тебя не денусь, — с удовлетворением произнес Дробот. — Ты ведь, кажется, этого хотел?

— Этого, — процедил курсант.

— Ну и где благодарность?

— Спасибо!

— Нигде не жмет? — участливо спросил наставник.

— Мой размер!

— Ну-ка пошевели-ка пальцами, — попросил Дробот. — А то ведь у тебя вон какая лапа, а у меня сорок первый всего.

Большой, безмянный и мизинец Огрызкина скрючились.

— Не этими, курсант, — посмотрев под ноги, с улыбкой произнес дядька. — Указательным и средним.

— Не могу!

— Стало быть, все-таки не впору тебе мои боты.

— В самый раз! — бросил арестант. — Просто обувь новая, разносить надо!

«Вот же сатана-то», — не без гордости за воспитанника подумал Дробот и решил, что на сегодня с Огрызкина довольно: — Хорошо, отпущу тебя. Но у меня есть условия. Даже одно.

— Называйте!

— Поклянись, что перестанешь шкодить.

Огрызкин не сразу отреагировал, хотя ему этого очень и очень хотелось.

«Если быстро присягнуть — труба дело, — рассудил пройдоха. — Слова покажутся дядьке легковесными, и он не поверит, что больше я ни-ни».

И арестант взял паузу. Он тягостно молчал, показывая тем самым, как ему невероятно сложно принять и выполнить условие наставника. Молчал, как рыба, кото-

рую проклятый старик попросил о невозможном, ну почти невозможном: сделать старуху вольною царицей, вторым, так сказать, лицом после владычицы морской. Молчал аж до самого восхода солнца (ведь как звучит, если не знать, что речь все-го-то о двух минутах четырнадцати секундах). Но не просто безмолвствовал Огрызкин, а сдобривал тишину непрофессиональными вздохами — в том смысле, что не наигранными театральными, а, как сама природа, естественными, которыми демонстрировал, что отказ от нечестивой жизни для него — это уж конечно — подобен смерти.

— Ну? — не выдержав, первым нарушил тишину наставник.

— Но Василий Владимирович! — взмолился хитрец, и в голосе его было сопротивление кролика, который хоть и упирается, но очень даже лезет в пасть удаву.

— Не испытывай мое терпение, — осветив курсанта фонарем, пригрозил наставник.

— Но прошу вас, — еле слышно вымолвил Огрызкин, как бы все еще цепляясь (но слабенько, для одного только вида) за прежнюю поганую жизнь свою, и (ну надо же, какая находчивость!) даже пал перед Дроботом на колени в висячем положении (делов-то, оказывается — надо просто пятки в зад вонзить).

— Так ты принимаешь мое условие или нет?

По тону дядьки арестант понял, что тянуть с ответом больше нельзя — можно переборщить и все испортить.

— Я... сог... ласен, — не сказал, но выблевал из себя Огрызкин. — А коли не сдержу слово — Бастилия, одиночка.

— Смотри же, — предупредил Дробот, убрал ногу с пальцев и, пообещав освободить узника через час, был таков.

Огрызкин отцепился от карцерной решетки, плюхнулся в воду и сразу отключился. От разможенных пальцев потянулись красные лентообразные струи. Запах крови привлек находившуюся поблизости и очень похожую на автора этой книги акулу пера. Она тотчас подплыла к узнику для проведения медкомиссии. Внимательно осмотрев побывавшие в твердом переплете персты, хищница пришла к выводу, что травма у курсанта пустяковая и он вполне годен к предстоящим военным играм — правда, с незначительными ограничениями.

— Допуск «Б», — вынесла вердикт акула и уплыла восвояси.

Очнувшись и поглядев на пальцы, Огрызкин сделал такое же заключение, но ничуть не обрадовался. После слов дядьки о разведке перспектива участия в Играх в составе какого-нибудь понтонного батальона, куда зачисляли со штампом «Б», курсанта совсем не прельщала. Ему нужно было только спецподразделение, а туда брали исключительно с категорией «А»: годен без ограничений.

— Хрен вам, а не операция! — психовал Огрызкин, вероятно, обращаясь к пальцам. — Госпитальеры сразу настучат, кому следует, что курсанту такому-то наложен гипс на левой руке, поэтому просим зачислить его писарем в тыл. Ну, конечно. Я же переученный левша, справлюсь и правой... Не, а че мы краснеем?! — вскричал Огрызкин, и это уж точно относилось к окровавленным пальцам. — Раньше надо было краснеть! Когда понос затыкали! Когда к верхней губе прикладывались, чтоб я на фюрера походил! Когда на сходках грязными в рот лезли и «зеленых» освистывали! Деревьев, видите ли, и так как собак, а леспром в упадке — даешь лесопилки, комбинаты целлюлозно-бумажные! А перевязу-ка я вас, гниды, как мумий, чтоб глаза мои вас не видели! И на бинт рот не разевайте! — взбурлил сиделец, как будто в карцере имелся выбор перевязочного материала и пальцы затребовали бинты. — Шас — размечтались! Тельняшка вам, а не бинт! Мокрая! Еще и помочусь на нее! Антисептик, ага. Только без «анти»!

Взгляд арестанта был холоден, жесток и страшен. Не было уже ни Огрызкина, ни пальцев его. Гай Юлий Цезарь взирал на залитые кровью фаланги, сломавшие строй под варварским натиском и опозорившие своего полководца. Бесчестье ваше не падет на меня, словно говорил надменный взгляд великого, не желавшего знать поражений римлянина. И легион левой руки, давно изучивший военачальника как свои пять пальцев, понял: о разбитых фалангах в вечнозеленый город доложено не будет.

— Жребий брошен! — отхлебнув из личного Рубикона, произнес Огрызкин и, подмигнув барахтавшемуся в воде жучку, добавил: — Я же просто порезался, ерунда, с кем не бывает.

Курсант оторвал от тельняшки кусок материи, перевязал пальцы и забыл о них. О них, но не о жгучей боли, которая — это Огрызкин знал — будет терзать его во время Игр, как мучила и сейчас. Этот факт не только не огорчил, но — как ни странно — даже обрадовал юношу. Как и все курсанты, он мечтал понять родную страну, стать ее частью и в свои семнадцать уже имел твердое убеждение, что ничто так не сближает человека с собственным народом, как физические или духовные страдания. Они есть крепкие и только на первый взгляд уродливые корни, питаюсь от которых вымахал прекрасный тысячелетний дуб, любил говаривать Огрызкин. Размышляя над отечественной историей, курсант пришел к выводу, что Россия сделала себя благодаря одному лишь страданию и что на самом деле русский народ жить без мучений не может, хотя никогда в этом не признается. И по Огрызкину это вовсе не была нация-мазохистка. Это была нация, которая на подкорке хотела походить на самого позднего Христа, в самые страшные для Него мгновения — минуты предсмертной агонии. И все для того, чтобы потом, если уж не на третий день, то хотя бы на пятый-седьмой-десятый-семидесятый год воскреснуть, как Спаситель, в небывалой силе и славе.

Уверен, читателя уже порядком утомило, что в тайге только и мыслей-разговоров, что о России. Знал бы читатель, как изможден гражданской прозой и автор, но ничего не поделаешь. Курсанты просто толком не умели говорить на другие темы. Они смахивали на детей белоэмигрантов, которым с утра до ночи рассказывают об одном и том же — какая прекрасная и несчастная страна осталась за морями и лесами. А если тебе только и делают, что круглосуточно твердят о России, то она поневоле становится твоим всем.

Конкурентов у Родины не было и близко, и причина этого крылась не столько в яром патриотизме лесных воспитанников, сколько в жестких условиях эксперимента, конечно. Ведь ни одной же девушки на тышу верст, к примеру! Уж кто-кто, а представительницы слабого пола точно вскружили бы парням головы и задвинули бы надоевшую нам Россию на второй план. Пустые мечты. Хоть испсихуйся, а девушки, которые разнообразили бы жизнь парней, а заодно и книгу, в тайге не водились. Да, интерес к женщинам со стороны курсантов временами вспыхивал, и довольно ярко, однако же быстро гас, так как мужская братия, как известно, любит глазами, а в тайге визуальные дамские образы были под строжайшим запретом. Лесная администрация прекрасно понимала, что даже скверно написанный портрет какой-нибудь кокетки может спровоцировать волнения в крови и на площадях. Поразительно, что за много лет ни у кого из взрослых обитателей леса, умевших рисовать и видевших женщин живьем, не сдали нервы. Ни одна Мария, Анечка, Юлька, будь то мать, сестра или возлюбленная, не легла на бумагу. Как ни умоляли об этом курсанты. Как ни хотелось этого подчас самим наставникам.

Или взять автомобили. Ведь самая же что ни на есть мужская тема, способная на равных конкурировать с Отчизной. Машины же в тайге были. Были-то были, но

опять-таки с военно-патриотическим уклоном, и разговоры о них в конечном счете сводились к тому, сколько, например, танков и БТРов нужно, чтобы никто в Россию не сунулся.

Литература? Спорт? Беседы о них опять же скатывались к стране. Кубарем. Ничего удивительного. Курсанты быстро, легко и с удовольствием подверстывали к стране дуршлаг, веник какой-нибудь, тараканов — чего уж говорить о таких высокодуховных или телесных вещах, как литература и спорт.

13

В оружейной комнате дома № 11 по улице прославленного при жизни Александра Маслякова шла тщательная подготовка к военным маневрам. Капитан Ракитянский и лейтенант Буриков чистили оружие.

Разжалованный в рядовые Огрызкин перекрашивал зеленые каски в темно-миротворческий цвет армии «синих», негромко напевая: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Погоны ефрейтора с Сергуна сорвали в прошлом году. Если вдруг кто-то из читателей переживает за юношу, спешу успокоить: при падении с карьерной лестницы (ну как лестницы — приступка) Огрызкин ничуть не расшибся. Оно и понятно. Довольно сложно получить серьезное увечье, упав почти с земли.

А провинность суворовского чудо-юдо-богатыря, коли интересно, была такой: он лишил провианта двести неприятельских солдат, самовольно, без приказа спалив их продклад. Огрызкин знал, что это ЧП не деморализует закаленных таежной жизнью недругов. Младодиверсант замахивался совсем на другое. Он рассчитывал нанести удар по интеллекту противника, добиться максимального отупения неприятеля, чтоб даже и стрелять разучился. И сначала все шло по плану. У вражеских солдат началась быстрая деградация по дарвиновской шкале происхождения видов. Не прошло и суток, как они, подобно неандертальцам, занялись собирательством, так как на охоту с передовой далеко не отлучишься, а поблизости зверь был распуган маневрами. Между тем, читатель, стоял февраль. А это вышелушенные бурундуками и белками шишки. Это семнадцать мерзлых и сморщенных брусничек на квадратный километр. Не ягоды — костяные бенди-мячи для мальчиков-с-пальчиков.

На девятый день лютый голод выгнал из окопов уже совсем питекантропов и швырнул их в атаку. Встречный холостой огонь (учения все-таки) не остановил, просто не мог остановить первобытных штурмовиков с дубинами в руках (к слову, после маневров они, как мальчишки на материке, закончившие игру в войнушку, напрочь докажут, что пули и снаряды летели мимо).

В общем, противники сшиблись, и завязалась такая варварская рукопашная, что не приведи Господь. Санитары не справлялись с потоком раненых. Бинты быстро закончились, и в ход пошли тельняшки, штанины и рукава от формы, а кое-где даже святыни войсковых соединений — знамена, за использование которых двенадцать солдат-крестоносцев позже ответят перед судом военного трибунала. Санинструкторов-гуманистов привяжут к кедром и заперют до полусмерти. За них никто не вступится — даже те, кто был перевязан бинтами из стягов. Не будет ни одного слова в защиту медбратьев. При этом их преступление товарищи одобряют. Но довольно своеобразно. Перед началом истязания палачам-сверстникам шепнут: «Лупите ребят со всей дури, чтобы быстро потеряли сознание и ничего не чувствовали. Проявите мягкосердечие — пеняйте на себя».

16 февраля навсегда станет антисанитарным днем не только благодаря солдатам, разорвавшим знамена на бинты. Через час после начала резни большинство медбрatьев вообще увидят свой долг в том, чтобы оставить раненых на произвол естественного отбора и присоединиться к драке. Молодая кровь взыграла. А как ей, скажите на милость, было не взыграть, если она, разбив оковы вен и вырвавшись на свободу, стала полновластной хозяйкой округи, окрасив все в цвет голубой мечты коммуниста? Окопы напоминали натуральные пункты кровосдачи, только раскуроченные и без шоколадок.

Санитаров, сорвавших с себя повязки с красными крестами и ввязавшихся в свалку, после маневров строго не накажут — лишь пожурят для вида. Оставили бы без помощи женщин, стариков или детей — расстрел без суда и следствия, а раненые мужики — ниче, пусть истекают кровью, коли уж кончился перевязочный материал. Победа важнее цены за нее, и лучше мертвый мужчина, чем никакой — так учили курсантов. Им говорили, что еще при Советах в стране не стало мужика, что превратился он в невозможную тряпку, о которую вытирают ноги тянущие воз бабы. Юноши не переставали удивляться, до чего странные были эти бабы. Они выли от взваленного на плечи груза и одновременно упивались абсолютным лидерством в семье и государстве. При внешнем неудовлетворении — какое-то урчащее кошачье удовольствие от того, что в России матриархат, что все успехи — их заслуга, а провалы — пьющий и тунеядствующий мужик виноват. Каждый курсант знал, что на материке он должен явить собой не просто образец настоящего мужчины, а гипертрофированного. И благодарности за это от женщин ждать не стоит. При внешнем ликовании они окажут мощное внутреннее сопротивление, и власть просто так не отдадут.

— В борьбе канут минимум два поколения россиян, — каждый раз предупреждали педагоги.

— Потерпим ради победы, — отвечали юноши.

— Дурачье, — смеялись наставники. — Какая победа?! Мужчины станут мужчинами, а женщины женщинами — вот итог войны.

Рукопашная длилась около двух часов. Пощады не просил никто. Не было ни пленных, ни отступающих — лишь нокаутированные или обездвиженные от переломов. И полуобезьяны одержали верх над превосходившими их по численности людьми. Когда Сергун очнулся среди победивших кроманьонцев (резкий эволюционный скачок после плотного обеда во вражеском лагере), то понял, что ни условного, ни безусловного врага, если он силен, опытен и отважен, нельзя лишать провианта: звереет и выигрывает.

При подведении итогов зарницы вина Огрызкина в поражении на одном из участков фронта была установлена и доказана. Сто девяносто шесть неприятелей из двухсот (четверо погибли во время атаки) показали, что, оказывается, сытое брюхо к победе глухо и если б не взорванный продсклад, то результат боя мог быть каким угодно. Ну да отвлеклись мы...

...В отличие от товарищей по дому, которые уже несколько часов назад разошлись по своим подразделениям, наши друзья оставались в доме. Их ждало спецздание. Через час им предстояло явиться к главкому «синих» Георгию Брянцеву — семнадцатилетнему генерал-лейтенанту, прозванному за полководческий талант Станиславским Театра Военных Действий.

Буриков был сам не свой, и это не ускользнуло от Ракитянского.

— Че приуныл, Илья? — спросил Толя.

— Да так, — буркнул Буриков, поправив на пустой глазнице пиратскую повязку, хотя она и так сидела хорошо.

— Говори уже.

— Огрызкин засмеет.

— Я ему засмею... Переживаешь, с задачей не справимся?

— Да не — в первый раз, что ли... Толь, я вот все про общественный транспорт на Большой земле думаю. Как бы в нем впросак не попасть.

— И с этим олухом я сейчас в разведку пойду, — покачал головой Огрызкин. — Где там просаку-то случиться? Все ж просто: в теплое время не будь русак, в холодное — беляк, а то выпнут из троллейбуса. Ну и в окно не глазами, естественно. Смотри, кто на остановках в двери заходит. Старикам, инвалидам, детям, беременным место уступай.

— Во-о-от, — выпучил глаза Буриков. — С местами-то как раз у меня и проблема. А точнее — с женщинами! Вот скажите, какой из них надо уступать место? Встанешь сдуру — обидишь же смертельно. Дамы ведь крайне чувствительны к возрасту. Вставанием с места ты им прямо укажешь, что зачислил их в старухи. Где грань между молодой и пожилой женщиной? Как провести классификацию? По морщинам? Осанке? Седине? Зубам?.. Не поможет это все. Морщины с горбом, простите, согбенностью у наших изработанных соотечественниц задолго до положенного срока появляются, но это вовсе не значит, что старые они. Да и седина с пустым ртом — не индикаторы возраста. Волосы, я читал, красят, а зубы вставляют.

— Может, по платку на голове судить? — предложил Ракитянский.

— Не вариант, запутаешься только, — с видом всезнайки изрек Огрызкин. — Это ж стереотип, что старуха обязательно должна быть в платке, а девица — в шляпке. А платки нынче навряд ли и молодухи носят. Хоть бы и в церковь. После кашпировских 80-х и сектантских 90-х нация резко ударила в истинного Бога, чуть лоб не расшибла — мы такие. Читали же об этом, когда воздушное сообщение работало. А женщины есть женщины. Сперва захотят не внутренне, а внешне перед Всевышним и угодниками преобразиться. Это уж как пить дать. И тут непрменный атрибут — платок. И не абы какой, что ты! В чем попало на прием к Василию Блаженному да Серафиму Саровскому?! Да вы с ума сошли! У модельеров, наверно, уже ум нараскоряку, какой фасон придумать, чтоб Ангела в храме отличалась от Полины.

— А ты у нас, смотрю, прям тонкий знаток женской природы, — заметил Ракитянский. — Монашки, например, на красоте платков совсем не циклятся.

— Исключение из правил, которое только подтверждает правила, — отрезал Огрызкин, разрезав воздух ребром ладони. — Не хотелось бы усугублять, братья дорогие, но наткнулся я как-то на заметку про одну нашу пенсионерку, которой было восемьдесят два, выглядела она при этом на шестьдесят пять, а ощущала — на семнадцать со всеми вытекающими: маникюр делала, мини-юбки таскала, кокетничала с вьюношами за сорок. А в магазинах, напоминая, продавщицы все как одна являются девушками, даже если какой пятьдесят с гаком. Железобетонное правило. Прочел где-то, что любая ларечница тебя непременно обсчитает и правильно сделает, если ты ее, не дай бог, женщиной обзовешь.

— Если нельзя молодых от пожилых отделить, можно просто перед любой дамой вставать, — робко предложил Буриков.

— Гимн тебе, что ли?! — взбеленился Огрызкин, и нельзя было понять, возмущенный патриот в нем говорит или великий сердцевед по женской части. — Давай еще паспорт у дамы спроси!

— И спросил, и спросил бы под видом проверки, нам же спецкорочки выдадут, — произнес Буриков. — А толку-то?! Ну, увижу, что ей шестьдесят, а дальше? Присаживайтесь, пожалуйста, — так что ли? Это ж конец. Она сразу поймет, что меня возраст интересует. Да ведь и границу нам четко не обозначили, что нет даме шестидесяти — сиди, а стукнуло — уступи место. Цифру же я от балды взял. А вдруг женщина вооб-

ще за равноправие полов! Больше — воинствующая феминистка! Или просто не согласна с пороговым числом!.. И ведь не спросишь же паспорт, все равно не спросишь, хоть бы и сделали рубежом шестидесятилетие, хоть бы и согласна она была с ним. Сидящий парень удостоверяет личность стоящей женщины — каково, а?! Это ж стыдоба и скотство. Да и не хватало еще, чтоб она, бедная, подумала, что я ее в чем-то подозреваю. И это ее-то! Не в «кадиллаке» сидящую! В автобусе трясущуюся! — с искреннейшей болью за нелегкую женскую долюшку выкрикнул Буриков, как будто не по картинкам, а по жизни знал, что в «кадиллаке» комфортнее, чем в пазике. — Нет, она, разумеется, вовсе не подумает, что я ее подозреваю в чем-то противозаконном. Не надо ее за дуру держать. Она сразу смекнет, что меня именно возраст интересует. Пишут же, что женщина прозорлива, простите, как старица, когда дело внешности касается. А лучше б решила, что я в ней убийцу или террористку увидел! Ей-богу, так лучше! Главное — не старуху!.. Плюс у нее сумки наверняка. Пишут же, что наши женщины всегда с сумками. Как кенгуру австралийские навроде. Сходство близнецовое. Даже впереди, читал, сумки держат, чтоб от воров убежаться. Будет такая рыться в авоськах своих, ронять все в поисках паспорта. Короче, столько неудобств человеку создашь и моральных, и физических... Измучился я, братья. Что делать-то? Как в женщинах разобраться?

— Задал ты задачку со звездочкой, — вздохнул Ракитянский. — Вряд ли мы ее решим. Женщины — существа необъяснимые, непонятные. Предсказуемы, пожалуй, только в одном: всегда играют на понижение возраста, как биржевые «медведи» на понижение курса.

— Тогда в чем проблема? — с хитрецей подмигнул Огрызкин. — Надо просто никогда не уступать место, тем самым демонстрируя даме, что она моложаво выглядят. И не отворачиваться к окну. На нее смотри! В упор! Пожирай глазами, как в бульварных романах советуют. Типа, нравишься ты мне, красавица, сил никаких. И лето тебе, наверно, от восемнадцати до пятидесяти семи, что в среднем арифметическом составляет тридцать семь и пять. Ты ж видишь, милая, я сижу! Это не от бескультурья, а знак тебе, что твои годы не замечены. Можно даже на весь автобус грубо тыкнуть ей как сверстнице. Это окончательно убедит ее, что она молода. Перед этим, конечно, сделать так, чтоб она тебе сумкой задела, а то неправдоподобно выйдет. Она тебе: «Вы почему мне тыкаете?!» А ты ей: «Это я-то тебе? Это ты в меня баулом своим тычешь! И ты мне не мать, выкать тебе! У меня сестра и то старше тебя, а я ей тычу, и ниче. Ишь, в какое платье вырядилась! Небось от кутюр, а сумкой мне в харю лезешь. А туфли?! Я таких эксклюзивных лодочек, гондол венецианских, ни на одной не видел! Так соответствуй своей внешности хоть маленько!» Она, ясен пень, обзовет тебя хамлом, а про себя подумает: «А я еще ничего. Какой славный молодой человек».

— От молодец какой! — язвительно прокомментировал Ракитянский. — По-твоему, пусть стоит уставшая женщина, наслаждается молодостью, которой ты ее одарил. Не стыдно? — спросил Толя, как будто Огрызкин уже напакостил в маршрутке. — Короче, выход вижу только один — идти на выход. Увидел женщину поблизости — сразу встал и пошел к двери, чтобы слезть на следующей остановке. И она села, и ты вне подозрений.

— Ты так никогда до пункта назначения не доберешься, — усмехнулся Огрызкин. — Это тебе не наш таежный городок, где женщин тью-тью. Это настоящий, черт тебя возьми, город. Там девочка на женщине и бабулей погоняет. Транспорт, я уверен, забит ими. Замучаешься, в общем, на каждой остановке сходить. Тебе статистика нужна? Легко. На десять девчонок — девять ребят... Эх, нам бы сюда хоть вот эту одну, которой пары не досталось. Королевой была бы. Пусть даже безрукая, безногая, без-

глазая, безъязыкая — движениями бровей бы управляла. А мы бы никогда не сидели в ее присутствии. При королевах не позволено сидеть, я читал.

— Эврика! — взъерошив копну рыжих волос, радостно воскликнул Буриков. — Можно ж вообще в транспорте не садиться! Не сядешь — вставать не надо!

— Ну слава богу, — выдохнул Ракитянский. — Ай да Ильюха!

— Ай да бестолочь лесная, — продолжил Огрызкин, не разделив общей радости. — Все-то у вас просто. Ты не сядешь — займет место кто-нибудь другой. И это обязательно будет мужик, которому плевать на женщин, на все плевать. Он ни за что не встанет! И вообще мужиком я назвал это ведомое, инфантильное, спившееся, безответственное существо по инерции. Нынче в России от мужика одно название осталось, и то скоро из обращения выйдет, сами знаете. А в курсе ли вы, к примеру, что стране было мало одного типа недомужика, и она завела себе дополнительных зверушек. В самой последней почте о них прочел, название газеты не помню, но найду в подшивке, если надо. Первый, значит, зверок — дикое и грубое мачо. Целует мускулы на камеру. Второй — ручной и благовоспитанный метросексуал. Пудрит нос перед зеркалом. Объединяет оба типа нарциссизм, селятся они в основном в Москве. Живчики эти имеют успех у женщин, так как не пьют и ходят в тренажерные залы, чтобы качать свое body. Спрашивается, для чего они качают свое body? Чтоб кули ворочать? Землю пахать? Защитниками слабых и угнетенных быть? Ага, размечтались. Чтоб от самих себя млеть — вот для чего. Им и женщина-то, уверен, не нужна, а если и нужна, то как кошелек, потому что влюбленные в себя зверушки к бабке не ходи — гермафродиты. Пока латентные, конечно, но подождите — дойдет до того, что они сами себя это самое будут. Я прям геев щас зауважал. Хорошие парни. Не эгоцентристы, по крайней мере. Кого-то, кроме себя, любить могут.

— Фу-у-у, — поморщились Ракитянский с Буриковым. — Заткнись уже.

— Молчу, молчу, несовременные мои ретрограды, — осклабился Огрызкин. — Вернемся к мужику в троллейбусе, который сел на свободное место. Так вот повторяю: он ни за что не встанет ни перед женщиной, ни перед стариком, ни перед кем вообще, потому что сидеть — это его ментальность такая сегодня. Он либо охранник в магазине, либо менеджер в офисе, либо альфонс на шее, либо лузер в луже, либо зэк в тюрьме. И нам, кстати, сидячего образа жизни тоже не миновать. На материке быстро окажемся за решеткой.

— Ты преувеличиваешь, — улыбнулся Буриков.

— Еще как окажемся, только я хоть тренированный, а вы, — Огрызкин махнул рукой, — из вас зэки как испанцы из каталонцев. Из вас зэки как ловеласы из евнухов. Как зонтики из...

— Хорош болтать, — не дав сыроежкам закольцевать каскад сравнений, перебил Ракитянский. — Ближе к сути.

— Как скажешь, кэп, — подчинился Огрызкин. — Не будете же спорить, что на Большой земле нас запросто могут назначить чиновниками. А это, знаете ли, прямая дорога в колонию.

— Не мели ерунды, — бросил Буриков. — Мы ж не будем брать взятки! Мы ж честно!

— Ты где живешь, Ильюшенька? — перешел Огрызкин на голос, которым говорят с малыми детьми. — Ты в какой стране, солнце мое, от колонии зарекаешься? Как раз твоя честность тебя и сгубит. Чтобы это понять, тебе надо было, как я, зачитываться материковой прессой, распечатками с Интернета, радио- и телеэфиров. Но ты современной печатью зачастую брезговал, предпочитал ей «Слово о полку Игореве» или «Повесть временных лет». Ты максимально отгораживался от российской действительности. А если и брался за нее, то выбирал в основном хорошие или нейтральные моменты. А всяческую гадость намеренно пропускал

мимо глаз и ушей, боясь запачкать в ней свой идеализм, — не так ли?.. А ты, Раки-та, тоже хорош. Слушал старших и читал ты избирательно. По России тебя инте-ресовали сухие выводы, статистические данные, а не живая жизнь, из которых они складывались. Ты не вникал в мелочи, а схватывал картину целиком. Не так-тик потому что — стратег. Не раз я видел, как Буриков начинал витать в облаках, а ты незаметно переключался на разработку какой-нибудь системы мелиорации, когда преподаватель на паре отвлеклся и заводил речь о нищете, в которой оказа-лась конкретная семья. Буриков не хотел слышать о бедности каких-нибудь Кар-пушкиных из-за гипертвормчивости, не выносил горькой правды, заболелвал сразу. А тебе достаточно было знать, что просто есть нищета как проблема. Много ты впитал, многое понял, не спорю. Но упустил в тыщи раз больше!.. Из вас я один с головой погружался в трильоны деталей и частных случаев. В быт. В вонь. В грязь. И в ущерб себе, между прочим! Вы вообще знаете, сколько порок я вынес за то, что по ночам читал прессу, когда к уроку надо было подготовить войну алой и белой розы?! Или факторы, влияющие на скорость химических реакций?! Поэтому о материке знаю в тыщи раз больше вашего. Так вот слушайте сюда, вы! Я сяду в тюрь-му. И ты, Ильюша, сядешь. И ты, Ракита. — Подбородок прохвоста задрожал по-ста-риковски, голос его задрезжал, как сервант при землетрясении. — Знать, не дове-дется среди женщин пожить. Из одного мужского коллектива в другой перекочую. Вот спасибо тебе, фатум.

— Не лей воду и не скули, — призвал Ракитянский. — Говори толком.

— Мы ж не сразу займем главные посты, хлопцы, — энергично, с увлечением за-говорил прохиндей (и куда только недавнее упадничество делось, одно слово — ак-тер). — Сначала нас будут обкатывать в низовых и средних звеньях, чтоб набрались опыта. Вот тут и амба нам. Работать не дадут. Начнут втягивать в коррупционные схемы, повязывать грязными деньгами, как кровью. Откажемся сотрудничать — подставят. И так подставят, что охренеете. Вот что у тебя в подсумке, Илья?

— Известно что — противогаз.

— А я тебе говорю — четыре кило героина!

— Ты спятил! — бросил Буриков.

— Мы с Ракитянским свидетели, — сухо произнес Огрызкин. — Че молчишь, То-лян? Скажи же, что у Бурикова наркота.

— Наглая ложь, — отрезал Ракитянский, хоть и понял, куда клонит плут.

— Не забывай, у тебя семья, двое ребятишек, — принялся давить Огрызкин. — Мишутке всего годик. Только от соски отучили. Совсем малыш. Жить да жить еще.

— Не думаю, что в России все прогнило до такой степени, — сказал Ракитянский. — Не думаю, что до такой!

— До такой, цирроз им там в печенку!.. Ну же?!

— Мы свидетели, Ильюха, — скрепя сердце поддался Ракитянский. — У тебя в под-сумке наркотики. Прости.

— Да вы что, ребята?! — вскочил Буриков, и единственный глаз его заморгал бы-стро-быстро. — Как же это?!

— А так, — лениво пригвоздил Огрызкин.

— Ах, так?! — воскликнул Буриков. — Тогда знайте — живым не дамся! Сотни при моем аресте лягут!

— Не лягут, — улыбнулся Огрызкин.

— Лягут! Всех положу и в леса уйду! Обучен!

— В таком разе я тебя в самой глухой чаще достану, чертово ты Рембо, — при-грозил Огрызкин. — Я ведь тоже из лесу вышел, был сильный мороз. Мне что берез-няк, что осинник, что кедрач — параллельно, везде найду. Медленной и мучитель-

ной смертью у меня умрешь. Надо будет — из пенька электрическую табуретку сварганю. Предмет «Пытки», как я теперь понимаю, нам не для общего развития преподавали. Как раз для работы с такими падшими ангелочками, как ты. Заруби себе на носу, с... сын, — нас не для того готовили, чтобы убивать соотечественников. Мне дорог каждый человек, говорящий или даже мямлящий на русском языке. Каждый! И за гибель выполнявших приказ милиционеров, у которых есть дети, жены, матери, — ответишь по всей строгости таежной присяги. Нигде не спасешься. Лесные братья помогут мне разыскать тебя и на воле, и за решеткой. В местах, не столь отдаленных, это даже проще. Там будет сидеть много наших, как ты уже понял. Команду на твою ликвидацию получают по так называемым малявам. Тюремная почта работает быстро и четко — не чета «Почте России». Так и разошлю всем: «В преступлении с наркотиками Буриков не виновен. Но на нем кровь соотечественников. Четыреста двадцать трупов, включая бойцов спецподразделений. Предать убийцу смерти. По возможности — изошренной». Не сомневайся, я тебе это устрою, если при аресте лапки вверх не вскинешь... Ты со мной, Ракита?!

— С тобой, будь ты проклят, — опустив глаза, тихо ответил Ракитянский. — Не обижайся, Илья.

— Как же это?! — Буриков вскочил со стула и попятился к стене оружейной комнаты. — Вы ж братья мои!

— Колымский песец тебе брат, — отбрил Огрызкин. — Молись, чтоб тебя кокнули при задержании. Или не героин подбросили, а устранили физически. Дай бог, чтоб тебя нашли мертвым от инфаркта, инсульта, прободения язвы или поносного обезвоживания. Или подпилили тормоза на твоей машине (в подконтрольных СМИ: по предварительным данным, в момент аварии водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а прохождение техосмотра считал пустой тратой времени и денег). Но очень-то на физическое устранение не рассчитывай, Ильюша. Не то время. Сейчас морально уничтожают, чтоб другим неповадно было. — Взгляд Огрызкина стал инквизиторским. — А ведь ты, Буриков, совсем не похож на наркодельца. Ну правда... Ты ж вылитый педофил. Одноглазый, рыжий, веснушки эти сладострастные. Короче, тебя обвиняют в изнасиловании девятилетней девочки. Анатолий, и вы не расслабляйтесь. Проходите свидетелем по делу.

— А не пошел бы ты, — сказал Ракитянский.

— И вот вы из свидетеля стали соучастником, поздравляю, — произнес Огрызкин. — Вас видели вдвоем, да. Вы устроили групповуху с маленькой отличницей, гниды. Страна готова вас разорвать. Благодаря вам все наше лесное братство дискредитировано. Нас клеймят позором и увольняют отовсюду... Нет, Буриков. Давай-ка ты лучше будешь у нас маньяк. Двадцать два изнасилования и убийства свесили на тебя. Снимай-ка военную форму. Примеривай извращенную.

— Зачем ты с ним так? — произнес Ракитянский, увидев побледневшего, вжавшегося в стену Бурикова.

— Не поверишь — из любви и сострадания, — ответил Огрызкин. — Он все вынесет, кроме бесчестья. Вот я и предупреждаю его насчет материковых методов. Но самое страшное, что таких не приспособленных к жизни праведничков, как Буриков, в нашем городе 42,375 процента. — Огрызкин на ходу придумал цифру, но друзья ему поверили, потому что в святой простоте своей полагали, что нельзя соврать до тысячных. — Не-а, не приживутся наши ангелочки на Большой земле, отторгнет тамошняя дичка наш белый налив... И только не говори, Ракита, что я тебе сегодня Америку открыл. Ну, то есть Россию.

— Не открыл, но если честно, я немного других опасностей от материка ждал, — признался Ракитянский. — Может, выход предложишь, специалист по Отчизне?

— Предлагаю сесть хотя бы за дело, — деловито произнес Огрызкин. — Но это получится, только если попадем в здоровый чиновничий коллектив. Без казнокрадов и мошенников. Коли повезет, будем спокойно работать какое-то время. Несколько месяцев, полагаю. Не унываю, потому что это большой срок на самом деле. Можно многое успеть. Поставим раскладушки в кабинетах и будем служить, служить, служить до посинения. А потом настанет один прекрасный день, когда все же придется сесть. По доброй воле.

— Не понимаю, — сказал Ракитянский.

— Давай пример приведу, — произнес Огрызкин. — Встретился тут с хакасом Боргояковым с Летнего конца. Так вот он говорит: «Если меня бросят на сельское хозяйство в родную республику и перечислят сверху деньги на посевную, то я пойду на нецелевое использование и сяду. Потому что урожаи по зерновым в степной зоне — гулькин хрен с гектара. В Хакасии скот разводить надо, и я все деньги на животноводство пушу». Если потребуется, говорит, подделаю документы и подпишу их у вышестоящих. А когда все вскроется, возьму вину на себя... Славный малый этот Боргояков, не правда ли? Сяду, подмигивает мне, а прецедент создам. Рыночная экономика, говорит, только городов коснулась, а в деревнях — плановая до сих пор, совок, колхозы. И я с ним солидарен. Плюс централизация власти, говорит, началась, чиновничество и отсутствие инициативы на местах. — Огрызкин посмотрел на Бурикова. — Братан, ты че там приуныл? Че стену подпираешь? Расслабься. Чиновником тебя не назначат, не переживай. Таким, как ты, обычными пожарными быть, простыми военными, заурядными полисменами. А чиновник — это тебе не игрушки. Самая опасная профессия в перспективе. Люди там будут быстро терять свободу, родных, доброе имя и лишь при идеальном раскладе — жизнь... Это судьба истинных героев, — выспренно заявил прохвост.

— Круче, чем у аргонатов? — с горящими глазами спросил Буриков.

— Тьфу на тебя, — сплюнул Огрызкин. — Дураком растешь, сравнил анус с перстом... Аргонаты — это ж разве герои? Жалкие мореплаватели твой Язон со товарищи. Такие победы, как у них, любой одержать может. Тебя хоть взять. Помнишь великое сражение, где победил миллионы? Тоже, кстати, в водной среде было дело.

— Не припоминаю что-то, — сказал Буриков.

— Постарайся вспомнить.

— Отвянь. Сочиняешь ты все.

— Как же сочиняю, Нельсон ты мой одноглазый? Вспоминай же, друг Горацио.

— Я не побеждал миллионы нигде! — занервничал Буриков.

— Ну как же? А в лоне? Хотя на твое «нигде» более точное словцо просится, согласен. Миллионы сражались за овладение островом-яйцеклеткой и...

— Прошу — замолчи! — вскричал Буриков. — Хватит!

— Ты там, слышал я, по головам шел, — не унимался Огрызкин. — Ну, по головам не по головам — по головастикам.

— Заткнись! — передернув затвор на «калашникове», пригрозил Буриков.

Но на него уже смотрело дуло пистолета. Огрызкин доставал «макарова» так же быстро, как вообще всяких людей, когда считал, что это необходимо, как в случае с Буриковым.

— Не советую горячиться, Флинт, — предупредил пройдоха. — Я нервный, меня мама в детстве бросила.

— А ну заткнулись! — приказал Ракитянский. — А то обоих пристрелю!

— А давай, — произнес Огрызкин. — Мертвые срама не имут. Все лучше, чем этот идиот страдать на материке будет. Я этого не вынесу, с катушек слечу. Я ж не для того про победу в лоне сказал, чтобы унижить Бурю. А чтоб понял он, что

рождение — это и есть самая великая наша победа, других не будет и не надо. Идем не на смерть даже — на позор... Вот что я вам скажу: я люблю людей на Большой земле, как отец. Даже как мать. Настоящая. Ну та, которая за детей жизнь положит, даже если узнает, что они твари. А их (ну тварей) в России хватает. Может быть, даже большинство, и поэтому...

— Не смей так о наших людях! — по-гюргиному прошипел Буриков, вероятно, запаматовав, как пару минут назад сам же хотел проредить этих самых наших людей, если они несправедливо с ним обойдутся.

— Смирно! — скомандовал Ракитянский. Гвардии капитан Ракитянский.

Огрызкин и Буриков подскочили, вытянулись в струну. Приказ старшего офицера, как тумблер, в секунду переключил их на профессиональных солдат. Груз ответственности свалился с плеч Сергея и Ильи, уставших от постоянных треволений по поводу будущего. Все распуталось. В головах и душах прояснилось. Приказ «смирно!» был больше чем приказ «смирно!». Это ж только на поверхности лежала команда к подчинению, а в глубине — примерно следующее: «Думать и решать теперь буду я, капитан Ракитянский, а ваша задача простая — беспрекословно слушаться, стойко переносить трудности и героически умереть, если понадобится». И Огрызкин с Буриковым повеселели, потому что задача действительно была несложной. Как большинство русских, юноши на генетическом уровне отлично умели и подчиняться (татаро-монгольское иго, крепостное право при царях и генсеках), и терпеть (а прямо вся история от Рюрика до наших дней), и умирать (довольно и одной ВОВ для примера). Делов-то. Лишь бы кто-то повыше рангом избавил их от извечных вопросов «Кто виноват?» и «Что делать?». Лишь бы не принимать решения самостоятельно и не нести за них ответственность.

Одни называют это рабской психологией, другие — монархическим сознанием. И первое не значит «плохо», потому что сам Спаситель умыл ноги своим ученикам. А второе не значит «хорошо», если вспомнить Эйнштейна, доказавшего относительность всего и вся.

14

Троица вышла на улицу и отправилась в ставку главкома, которая находилась на другом конце города. По пути нашим героям то и дело попадались идущие в ногу коробки «синих» в полной амуниции. Они чеканили шаг по брусчатке, вероятно специально уложенной неровно, чтобы напоминать о сердце России — Красной площади. Издалека доносился рев моторов военной техники, построенной за городом в колонны для марша. Судя по частым звукам разгазовки, можно было понять, что механики-водители заждались приказа к выступлению и нервно топят и отпускают педали, рвут на себя и от себя рычаги — так бык бьет копытом о землю перед тем, как рвануть с места. С каждой минутой и без того зычная переключка боевых машин «красных» становилась все яростнее. Казалось, груды военного металла тоже изнывали от напряженного ожидания вместе с водителями и только и ждали, что команд по рациям, чтобы начать преследование своей пехоты, получившей несколько часов беговой форы.

В это же самое время боевые машины «синих» спокойно спали в загородных боксах, чувствуя сквозь сон, как в их утробах проводят профилактические работы те, без которых гуманитарии читали бы своего Ремарка в пещере при свете огня и называли бы феном искусственный ветер, созданный маханием горящих звериных шкур. Технику разбудят только через три дня — срок, за который армия «красных»

должна выстроить глубоко эшелонированную оборону. Солдатам «синих», в отличие от их танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и десанта, спать не дадут. Они будут за околицей дено и ночью упражняться в стрельбе, преодолевать полосы препятствий, освобождать заложников, чтобы вымотаться не меньше «красных», которые займутся круглосуточным строительством фортификационных сооружений в ста километрах от города. Это делалось для того, чтобы уравнивать силы двух армий еще до сражений, так как тот, кто сначала возводит укрепления, а потом их защищает, устает больше того, кто эти укрепления должен просто захватить.

Красота улицы, по которой шли наши разведчики, поражала. Терема-коттеджи, оконные ставни, петухи-флюгера на крышах, заборы, палисадники, колодцы были раскрашены в бело-сине-голубой цвет. В снег, море и небо. Так выглядел весь Зимний конец. Здесь было так много освежающей гжели, что даже жара, казалось, переносилась легче, чем в других городских районах, расписанных под хохлому (Осенний конец), дымку (Летний), жостово (Весенний).

Пройдя метров двести по родной улице, парни услышали странный шум за воротами дома № 96. Решили проверить. Калитки и двери в городе не запирались. Вошли. Переглянулись. Потребовали объяснений у белобрысых близнецов Чука и Гека Ладоскиных, которые держали за шею черного, как эфиоп, картавого цыганенка Яшку Волчкова и куряли его в бочку с водой.

— В побег арапка намылился, — сказал Чук гостям. — Учим по-братски.

— Се гавно сбе... — вскричал Яшка, а «гу» уже вышло в виде партии пузырей.

— Так вроде не бегаем уже, — произнес Буриков. — Всем же объяснили, что передовая нынче в Сибири.

— Насгать... мне... на Сибиг'ь! — вместо того чтобы благоразумно набрать воздуха перед очередным погружением, прокашляла выдернутая из воды головешка.

— А ну притопи злослова, — отдал распоряжение Огрызкин двоим из ларца. — «Р» не выговаривает, а рыпается. Не пробовали ему камней в рот насовать, как Демосфену? Нагрузку на челюсти дать? Все меньше картавой чуши спорет... И ведь главное, не обвинишь в предательстве, если придерживаться буквы закона? Сибиг'ь — не Сибирь. Чертова юриспруденция!

— Ребята, а че он в Россию-то собрался? Не говорит? — спросил Буриков.

— Какая тебе Россия?! Какая Россия?! — ответил Гек. — Украина ему теперь Родина, туда лыжи наострил.

— Выньте его на пару слов, — сдвинув брови, попросил Ракитянский и сурово обратился к вылетевшему из воды чавору: — Подтверди или опровергни про Украину.

Ошалелый, едва не захлебнувшийся Яшка долго откашливался, отхаркивался и жадно хватал воздух, как загнанный волк — снег. Известная своей гидрофобией злая волшебница Бастинда из приблизительно такого же, как наш, «Изумрудного города» не боялась воды так, как страшился ее теперь таежный цыганенок. Она перестала быть для парня символом жизни. Яшка не желал состоять из нее ни на семьдесят, ни даже на двадцать процентов — максимум на ипотечную ставку по кредиту в развитой европейской стране. Курсант умылся и напился на годы вперед. За час в нем убили потенциального моряка, рыболова, ученого-гидролога, художника-мариниста, почитателя Жюль Верна и Даниэля Дефо. Зато породили всю татаро-монгольскую орду, прикасавшуюся к воде, как известно, исключительно во время форсирования рек и озер. Перенесенный гидроудар был таким мощным, что цыганенок по всему должен был отказаться от побега в Малороссию — тем более знал, что воспримут это не как слабость, а как отречение от дурости. Но Яшка был ай-на-нэ.

— Ук-га-и-на! — набрав в легкие воздуха, по слогам прокричал он, и все его свободолюбивые предки-гадалки и пращуры-конокрады бросились выпрашивать у ан-

гелов с чертами небесные табуны, чтобы после смерти «смелый красавчик» мог спокойно воровать по косяку каждую ночь вплоть до Страшного суда.

— Ни родины, ни флага, одно слово — цыган, — покачал головой Огрызкин и не без сожаления, как капитан «Варяга», приказал: — Открыть кингстоны!

— Стоять! — бросил Ракитянский. — Сам недавно в осадках сидел, — теперь других топишь?.. К ответу, Яков! Заклинаю — к ответу!

— Бгатья! — вздев руки к небу, воскликнул цыганенок. — Котогый уж месяц сон снится, что Укгаина в огне! Кгасное солнце с захода на восход катится! И нас, гусских, во всем обвиняют! Весь свет нас ненавидит! А укгаинцы пуще всех! Стгочка проклятая по ночам идет: «Никогда мы не будем бгатьями! Ни по године, ни по матеги!» Не могу я так больше! Отпустите! Вгемя есть еще! Лет пять-восемь!

— Да ты, погляжу, совсем умом тронулся! — схватив Яшку за глотку, гневно вскричал Огрызкин и потряс цыганенка, как осеннюю яблоню. — Чтоб украинцы русских ненавидели?! Славяне славян?! Катай его, бгатья! Выбивай дурь!

И Яшка, как кубок после победы, пошел по рукам. Били сильно, но без злобы — по-товарищески. Цыганенок не сопротивлялся и даже не обижался. Понимал, что сон не может быть достаточным основанием для произнесения ужасных, просто немислимых вещей. Осознавал, что сказанное им приравняется к фразе «Ельцинское десятилетие стало золотым веком для России» или того хлеще — «Фашисты выиграла войну в 1945-м». Лицо Яшки превращалось в кроваво-сопливую дрисню, но он молчал, терпеливо сносил заслуженные, как ему казалось, удары, не сомневаясь, что братья желают ему добра.

— Еще скажи, дуралей, что Олимпиаду проведем! — крикнул Чук, влепив Яшке по уху с такой силой, что превратил аккуратный пельмень в разваренный мант.

— Ага, зимнюю! Среди сочинских пальм! — заржал Гек, но вспомнив, что живет в России, в которой и небываемое бывает, перестал смеяться и присовокупил к сказанному совсем уж невероятное, капитально несбыточное, чтоб уж, как говорится, наверняка: «И при этом не будут разворованы такие средства, на которые можно провести семь Олимпиад, а на сдачу — два чемпионата Европы по пинг-понгу».

— Нет, пусть лучше скажет, что Крым рано или поздно вернем, — подключился Ракитянский и пробил Яшке в солнечное сплетение, наглядно продемонстрировав цыганенку, что лишиться воздуха можно и без помощи воды.

— Не поздно вернем — рано! Почти за послезавтра! — усугубил Огрызкин, не сомневаясь, что такая шустрая стыковка полуострова с Россией уж точно никак невозможна, но все же, как и Гек с Олимпиадой, на всякий пожарный подстраховался: — И весь мир встретит это воплями «браво!». А хохлы воскликнут: «Возьмите прицепом и Донбасс с Луганщиной!»

— О! — воскликнул Буриков, зарядив цыганенку ногой с вертушки и как бы совершенно случайно промазав. — Скажи-ка лучше, Яша, что вторгнемся, например, э-э-э... в Сирию! Да, в Сирию! Хотя нет — это очень возможно! Это как раз таки по-нашему: когда самим есть нечего, спасти несчастных сирийцев, с которыми даже не граничим. Это ж святое дело — помочь евангельскому ближнему! И это, конечно, должен быть сразу Ближний Восток — никак не меньше! Короче, Сирия отменяется! Надо придумать что-то понереальней, позабористей! О! Давай-ка лучше, Яша, кто-нибудь наш самолет собьет! Вон хоть турки!

— Только, чур, не гражданскую «тушку», а стратегический бомбардировщик! — подхватил Чук, и этого дополнения, по его мнению, было более чем достаточно для нереальности, потому что османы, конечно, никогда не посмеют сбить бомбардировщик, не дураки же. Но, подумав, однойцевый все-таки решил, что мало ли, поэтому ввел в бой уточнение из области, как ему мнилось, совершенной фантасти-

ки: — И Россия снесет пощечину, только потроит для порядка, что, мол, больше, пожалуйста, не сбивайте.

Ржач одобрения. Оно и понятно. Скорее земля перестанет вращаться, чем турки останутся безнаказанными, если вдруг, ну вдруг совершат невозможное по определению — собьют военный самолет. Засмеялись, однако, не все.

— Знаешь, а ведь если собьют, мы после этого можем вот запросто другую щеку подставить, — сказал Гек, но, судя по удару кулака, самый что ни на есть Гектор. — Мы же выше мести. Такая натура у русских: вы нам, турки, подлянку, а мы на ваших курортах несколько полумесяцев отдыхать не будем, потому как злые вы, бе-бе-бе... Поэтому пусть лучше Яшка скажет, что православные пойдут отвоевывать святую Софию, как католики — гроб Господень. Да, зальют кровью Стамбул, чтоб переименовать его в Царьград и сплавить грекам! Вот этого уж точно не может быть! По крайней мере, в обозримом будущем!

Яшка дал знак, что хочет говорить. Парня перестали лупить. То, что слетело с его губ, когда он собрался с силами, заставило истязателей застыть сталактитами. Общее потрясение было столь сильным, что приземлись на слова цыганенка летающая тарелка, курсанты не обратили бы на нее ни капли внимания. Или стали бы из нее есть (так бывает, когда человек в чрезвычайном волнении начинает поглощать все подряд, не замечая, что он трескает и из какой посуды).

— Укр-р-раиночка! Укр-р-раинушка! Укр-р-раинонька! — прокричал мученик за крайних восточных славян и потерял сознание.

Это была такая эталонная «Р», что ее хотелось вырвать из середины алфавита и поставить перед буквой «А», чтобы другие литеры равнялись на этот своеобразный флаг с простреленным ядром полотнищем.

— Слова не Яшки, но Яхонта, — произнес Чук.

— Пусть валит в свою Украину, — вздохнул Гек.

— Так выловят же, система отлажена, — сказал Огрызкин.

— Этот дойдет, — не согласился Буриков.

— Но сделать ничего не сможет, где-нибудь в Одессе на скорую руку жизнь за други своя положит, и весь сказ, — заключил Ракитянский и отдал команду: — Уноси готовенького!

Наши разведчики вышли за калитку. Сразу напоролись на дворника Аркадия Степановича — того самого экзальтированного доктора наук, который прошел отбор на участие в эксперименте на зорьке романа.

Читатель, поприветствуй девяностые — начало нулевых. Шутка ли дело — ученый метет улицы. В лесном городе выполнявших черную работу академиков можно было встретить на каждом углу, однако курсанты относились к этому спокойно, если не сказать — равнодушно.

Безусловно, кабы наши болевшие за судьбу Родины юноши жили, положим, в Новосибирске образца 1996 года и узнали бы, допустим, что известный академик вынужден заниматься починкой унитазов, то они бы негодовали вместе со всеми здравомыслящими гражданами. Все правильно — светила должны трудиться по специальности, стоять за кафедрами, руководить лабораториями, писать диссертации. Если, конечно, при этом есть кому работать руками. А если некому? Если вокруг светило на светиле? Ну, как было в таежном городе. Что ж — тогда добро пожаловать в ренессанс, в котором пекарь шпарит на латыни, а сапожник в свободное от основной работы время пописывает трактаты о движении небесных тел. Курсанты, не знавшие другой жизни, считали такое штатное расписание нормой. Ну, изъясняется хлебопек и изъясняется — лишь бы батоны были с хрустящей корочкой. Ну, пописывает сапожник о небесных телах, и дай бог — только бы подковал

ботинки, как у дембелей на Большой земле. Постригающий газоны доктор экономических наук — это не хорошо и не плохо. Это обычное дело. А как еще, если экономисту тебе преподает финалист Нобелевки?

А понятия «престиж профессии», если читатель вдруг о таком вспомнил, в городе и вовсе не существовало. Юноши одинаково уважали и любили как интеллектуальную, так и физическую работу. Последнюю даже больше, так как она отлично проветривала мозги. Да и результат от нее был виден сразу. Ровенькая, похожая на пчелиные соты поленница дров — красота же. Это вам не теорема Ферма, которой не залобуешься, которую не применишь в быту, составляющему ядро жизни.

Повлиять на престиж профессии могли бы, конечно, деньги, но в городе их не платили ни мэру, ни дояру. И даже если и платили бы, это нисколько не изменило бы ситуацию. А нет — изменило бы. Тот, кто получал бы меньше всех, пользовался бы самым большим почетом. Купюры, как помнит читатель, в городе считались нечистыми, как свинина для мусульман.

Аркадий Степанович выглядел сейчас гораздо лучше, чем в момент нашего с ним знакомства. Он так посвежел, что просто удивительно, как ему не приклеили кличку Бриз. Говорят, время, проведенное на рыбалке, не идет в счет жизни. Но это мужицкая байка такая — не более. А вот то, что пребывание в тайге возвращает молодость, — уже чистая правда. Из-за этого в лесном массиве Сибири даже не рекомендуется находиться долго: можно со временем впасть в глубокое детство и, как следствие, начать без опаски шастать по тайге, что с большой долей вероятности кончится плачевно. Прямых доказательств, что среди кедрача молодеешь, у автора нет. Зато имеются косвенные. Ореховал он как-то. Пил при этом много, и спирт, разбавленный одной слюной. До пяти утра. А в шесть — подъем. Так вот при пробуждении — ни бодуна, ни усталости. Взлетал автор на кедр четырнадцатилетним подростком, чтобы удочкой насшибать шишек и до кучи понять, что чем выше человек поднимается, тем меньше у него становится свободы. Чего греха таить — открывшуюся красоту вида заслонял страх падения. При кажущемся всемогуществе — минимальная возможность для маневра и постоянная болтанка (на макушке даже тихий ветер превращается в штормовой) — не то что у счастливицков внизу, на которых сыплются шишки, всего лишь сыплются шишки. Словом, кто еще хочет стать президентом или другим высокопоставленным слугой народа — добро пожаловать в тайгу. А я — пас... Овец.

Физическое состояние Аркадия Степановича было превосходным. А вот душевное оставляло желать лучшего. Нет, старик не устал от тайги и не соскучился по материку. Его печалило другое: в последние годы он утратил влияние на курсантов. Они выросли и почти перестали интересоваться мальчишескими забавами, которые регулярно организовывал Аркадий Степанович, чтобы за игрой, между делом делиться с пацанвой знаниями — преимущественно факультативными, дабы не дублировать школьных педагогов. Однако как бы ни были плохи дела старика в плане влияния на молодежь, он не сдавался, цеплялся за любую возможность раздвинуть научные горизонты курсантов.

— Ребятки, у меня для вас бомба, — без предисловий обратился дворник к вывалившейся на него тройце.

— Здравствуйте, Аркадий Степаныч, — отвечивший Ракитянский. — Потом взорвете. Спешим мы.

Курсанты с обеих сторон обогнули доктора, как речные воды — островок, и быстро двинули дальше. Доктор развернулся и засеял рядом с ними.

— Здесь все о нанотехнологиях! — выхватив из перекинутой через плечо сумки стопку бумаг, воскликнул он. — За ними будущее! На сорока листах — самое главное!

Цинус! Чистая эссенция! Полгода ужимал информацию! Технический язык на пушкинский перевел! Почти в рифму всё! Читается и запоминается, как «Наша Таня громко плачет»!

— Отдайте кому-нибудь другому, а у нас война, — отмахнулся Огрызкин. — «Красные» уже на позиции выдвинулись, а вы нам мелюзгу втюхиваете, которая держит за материк инфузорию-туфельку.

— Да ты ж сначала почитай, почитай сперва, — попросил Аркадий Степанович и резко перешел на другую тему, которая только на первый взгляд не имела отношения к делу: — И когда ты вырос, мальчик мой? Гляжу на тебя и не верю, что мы с тобой когда-то воздушных змеев запускали. А кораблики? Помнишь кораблики? Пелекласьте палуса в алый цвет, Алкадий Степаныч. Достаньте в мастелских подшипников для ядел. Договолитесь на складе, чтобы списали пятьдесят пуль — очень полох нужен для осады Толтуги.

Мимо кассы. Деликатный нажим на чувство благодарности не прокатил. Огрызкин не только не взял рукопись о нанотехнологиях — он даже не удостоил доктора взглядом. Что тут скажешь? Семнадцатилетний юнец еще не оторвался от детства настолько, чтобы с теплотой возвращаться мыслями в нежный возраст и испытывать признательность к тому, кто запускал с ним в небо бумажных анаконд и мастерил ему игрушечные корветы. Должно было пройти еще немало лет, чтобы у Огрызкина стало щемить в груди от детских воспоминаний. Сейчас же его даже раздражало, что ему, взрослому и самостоятельному мужику, каким он себя считал, напомнили о времени, когда он баловался всякой ерундой.

— А помнишь, как я корни у соседних кедров откапывал, чтоб избушка, которую ты наверху строил, была на курьих ножках с всамделишными лапками?! — с доброй улыбкой наседали Аркадий Степанович, не понимая, что номер с экскурсом в недавнее прошлое уже провален. — С веником тогда быстро с тобой решили, дворник же я! А ступа?! Это была проблема, вспомни! Пришлось напеть главному технологу общепита, что у детей все признаки весеннего авитаминоза — надо налечь на капусту. И бочка под твою, Сережа, ступу опустошилась за ужин. Да не одна — целый погреб! Выбирали еще с тобой потом. А помнишь, как елку-небоскреб к Новому году в тайге наряжали?! Как «Двенадцать месяцев» возле нее ставили?!

— Как не помнить?! — усмехнулся Огрызкин. — Июлем был. В сорокаградусный мороз. Щеголял на вечерней премьере в рубашке и сандалях на босу ногу. Обморожение нижних конечностей схлопотал. А на второй день Май засопливил, слегли с ангиной Апрель с Ноябрьем.

— Но вы ж сами тогда уперлись, чтоб все было взаправду, как я вас ни отговаривал, — растерянно пробормотал Аркадий Степанович. — А вы ни в какую. Грозилась сорвать представление, если одежда месяцев не будет соответствовать временам года.

— А вам надо было все равно настоять на своем, не надеяться на нашу закалку, мы ж несмышленная детвора, — подмигнув доктору, весело произнес стервец, всем своим видом давая понять, что за спектакль он не в обиде, но и всучивать ему нанотехнологии не надо.

— Анатолий, друг сердешный, ты хоть возьми! — подскочив к Ракитянскому, взмолился доктор.

— Не могу, Степаныч, простите. К главкому торопимся. Потом сразу в тайгу. Когда нам читать?

— А хоть бы на привале, — ответил доктор и бросился развивать наступление: — Бумагу после этого можно на разведение костра пустить, чтоб не тратить время на

поиск сухостоя. Я ж не собрание сочинений Маркса предлагаю. Всего-то сорок страниц. Вещмешок не оттянут.

— У вас копия-то хоть есть? — начал поддаваться Ракитянский.

— Тыща! — солгал доктор, потрясая перед носом курсанта единственным имевшимся у него экземпляром, как дореволюционный мальчишка-газетчик. — У меня в типографии все схвачено! Берите, читайте и смело жгите!

— Хорошо, давайте сюда, — сдался Ракитянский.

— Дай слово офицера, что пустите на розжиг только после ознакомления, — попросил Аркадий Степанович.

— Слово, — поклялся Ракитянский и взял рукопись.

Доктор остановился и долго глядел вслед удалявшимся разведчикам. Лицо его было ясным и светлым. Ну чисто ангел, окрыленный чувством выполненного долга и не воспаривший к небесам, наверно, только потому, что, будучи ученым, верил не в Бога — в науку и человеческий разум (говорят, у высоко нравственных атеистов за спиной вырастают куриные крылья, чтобы не могли оторваться от так любимой ими земли). Аркадию Степановичу не было жаль многомесячного труда, который вскоре должен был стать пеплом. Он помнил работу наизусть и в ближайшее время намеревался восстановить ее.

15

Парни пересекли центральную площадь и вошли в Летний конец города. Здесь надо было держать ухо востро. Массовые драки и небольшие стычки между районами случались часто. Сходились как на масленичный кулачный бой — без ненависти и оружия. Выплеск адреналина с энергией — и ничего более. Сражения с участием трех и более человек запрещены не были (исключение — время военных Игр). Если и на дуэли-то, всегда имевшие под собой серьезный повод и нередко заканчивавшиеся смертельным исходом, городская администрация смотрела сквозь пальцы, то о битвах «стенка на стенку», происходивших единственно от чрезмерного душевного и физического здоровья и не приводивших к серьезным увечьям, и говорить не приходится. Таежная мэрия даже хотела легализовать межрайонные баталии, определить для них правила и специальные места, но курсанты провели на центральной площади санкционированный митинг против нововведений. Требование было простым: оставьте, как у Дюма, интригу, позвольте слепому случаю решать, где, когда, при каких обстоятельствах и в каком количестве столкнутся условные мушкетеры и гвардейцы.

Происшествие не заставило себя долго ждать. Не прошли разведчики по Летнему концу и пятидесяти шагов, как дзынькнули каски. У Бурикова из щеки брызнула кровь — срикошетил камень от бронированной головы Ракитянского. Остановились. Осмотрелись. Никого. Отправились дальше, но не сделали и шага, как получили камнями по не защищенным бронежилетам плечам. Кто-то явно пристрелялся.

— Мы тут, зимнички! — прозвучал голос сверху. — Как вам наш летний метеоритный дождик?!

Взрыв смеха. Разведчики подняли головы. На крыше двухэтажного терема, лузгая семечки, в одних трусах возлегалo четырехкратное превосходство в живой силе. Встретившиеся зимники и летники были знакомы, как минимум, шапочно. Неудивительно — город маленький. Затесались в обеих компаниях и такие личности, биографии которых каждый горожанин знал, как свою собственную.

— Ба-а, кого я вижу! — обратился Огрызкин к долговязому синеглазому пареньку с шикарным, как у киношного советского тракториста, чубом. — Сява Уржумцев собственной персоной! Про дождь спрашиваешь. Так вот дождь ваш, Сявка, косой! Как трусишка зайка серенький! Да и не ливень, сказать! Грибной какой-то сикнул! Грешу на простатит у тучек! Эй, пись-пись! — выдал Огрызкин и скомандовал друзьям: — Черехаха!

Разведчики сложились, как трансформеры, сократились в размерах, как дробь, а именно присели на корточки, убрали руки под себя, втянули головы в плечи. По панцирям забарабанило. С минуту шла бомбардировка. Она не нанесла черепахам серьезного ущерба. Тучи распахивались и, соответственно, шмаляли без подготовки — лишь бы просто попасть.

Переждав бомбежку, черепахи выпрямились, подняли головы, приветливо заулыбались. Сверху им весело подмигнули уже выхолощенные тучи или, проще говоря, облачка. Теперь все было вроде бы хорошо, и разведчики наверняка беспрепятственно продолжили бы свой путь, если бы Буриков не задал совершенно безобидный на первый взгляд вопрос:

— Ребята, а вы чего голые, почему не по форме?

— Олигофренд ты, олигофренд, — повернувшись к Бурикову, прошипел Огрызкин. — Еще бы добавил: уж не зачислены ли вы в отряд военных ныряльщиков для диверсий в зеленом море тайги? Чую, не миновать нам теперь госпиталя на пути к главному.

Буриков хлопнул глазами. Он не понимал, что такого страшного спросил.

Эх, Илья, Илья... Право, круглый дурак на твоём месте — и тот бы, наверно, сразу догадался, почему парни на крыше облачены во френчи Адама. Тут же все очевидно: юношей в порядке очереди или за провинности оставили в городе для ухода за скотом, огородами и посевами. Буриков, согласись, и так обидно, когда во время войны тебе выдают бронь или выбраковывают по морально-деловым, а тут еще твой нелепый вопрос, через который ты, сам того не желая, намекнул-напомнил парням, что зарница 2007 года пройдет без них. Как тебя напалмом из глаз не испепелили — ума не приложу. Чтоб ты знал, курсанты с Летнего конца так переживали из-за невозможности выступить в поход, что вот буквально не находили себе места. И поиски подходящего, да будет тебе известно, продолжались аж несколько часов, пока наконец один из обделенных судьбой не провещал философски, что «время собирать камни», и не предложил залезть на крышу в одних трусах, чтобы «свысока взирать на проходящих мимо потных милитаристов и при случае собранные камни разбросать».

То, что Буриков спросил о форме одежды без задней мысли и никого не хотел обидеть, понимали только его друзья. Те же, кто находился наверху, расценили вопрос Ильи как ядовитую подколку (мол, пока мы, курсанты с Зимнего конца, займемся настоящим мужским делом, вы, недоделки с конца Летнего, будете ковать победу в тылу, как женщины и дети).

Лица летников посерели, как солдатские шинели. Желваки за их щеками заходили, как поршни. Глаза засверкали, как кончики штыков на солнце. Казалось, вот-вот покатаются курсанты с крыши коттеджа, как суворовские гренадеры со швейцарских Альп. Но один из сидевших на самом краю парней вяло, как старый индейский вождь, поднял руку — не время! Его взведенные до упора товарищи-курки недовольно буркнули, но послушаться не посмели.

Коренастого, среднего роста шатена, придержавшего кровопролитие, звали Артемом Багдасаровым. Монархист, бретер, один из неформальных лидеров Летнего конца, он всегда говорил с изысканной ленцой, негромко и слегка высокомерно. Ти-

пичный лев, привыкший повелевать, знавший себе цену и словно бы дремавший, пока дело не доходило до драки, в которой он был великолепен, как семерка из вестерна: действовал отважно, хладнокровно, решительно, быстро и точно. В рукопашной его лапищи производили такую же разрушительную работу в неприятельских рядах, как шары-бабы на сносе домов.

Багдасаров был слишком породист, слишком уважал себя, чтобы позволить товарищам устроить потасовку из-за шавки с Зимнего конца, пусть и больно цапнувшей. Слишком мелко для льва. Если уж драться, подумал он, то на идейной подкладке.

— Ракитянский, — обратился Багдасаров к человеку, которого считал равным себе по силе и славе.

— Ну я.

— Все еще стоишь на своем?

— Смотри о чем ты.

— Да все о том же, — лениво произнес Багдасаров. — О законопроекте, который ты проприхиваешь в парламенте. Как там бишь его? Про кедры, что ли.

— Про них, — ответил Ракитянский. — Стою на своем. Кедры на сто седьмом километре рубить нельзя.

— Но там же сухостой. Древние коряги. Какие проблемы?

— Такие, что нельзя деревья валить.

— Ну мы ж не просто свалим, — заметил Багдасаров. — Мы ж все чин чинном. Саженцы воткнем, и вырастет лес краше прежнего.

— Через пятьдесят лет?

— Да хоть через сотню, — ответил Багдасаров и подмигнул своим: — Мы никуда не торопимся.

— Зато я тороплюсь, — сказал Ракитянский. — Нравится жить грядущим — живи, как вся наша дурная страна. Только и делает, что живет для светлого будущего. А оно все отодвигается и отодвигается. Пора прикрывать эту лавочку. Все — нет будущего. Есть только сегодня, край — завтра и то до обеда. «Мы не для себя — для грядущих поколений живем, — хвастают альтруизмом на Большой земле. — Главное, чтоб у детей все было, сложилось у внуков. А мы уж как-нибудь, как-нибудь». Не от жертвенности это «как-нибудь». От лени, хилости душевной и нежелания брать на себя ответственность.

— Эка загнул, — усмехнулся Багдасаров. — Не понять тебе с твоей ляшской фамилией, что есть такое русская душа.

— Ты фамилию мою не тронь, — предупредил Ракитянский. — Не ты — уважаемые люди пальцем в справочник тыкали, меня нарекая.

Багдасаров, посмотрев на своих, покачал головой и развел руками — мол, я сделал все, что мог, я пытался, но бесполезно, сами видите. Вялая отмашка жоака — и его товарищи слетели с крыши на землю, как голуби, которым сыпнули горсть семян. И вот хоть бы один сломал или уж подвернул ногу, второй этаж все-таки. Нет, все четко: пружинисто приземлились, перекатились колобками, встали, взяли разведчиков в кольцо.

Расклад сил походил на разгромный хоккейный счет — 12:3.

Вокруг разведчиков, скинувших стволы по заведенным правилам, но больше от гордыньки, завертелся хоровод. Не как окрест елочки — веселый и радостный. Воинственный, дикий и страшный — как есть чечено-ингушский, лесные братья все-таки. Разведчикам аплодировали в такт бешеной пляске — воздавали, надо полагать, последние почести.

И вдруг танцплощадка испарилась. На ее месте вырос шаолиньский зверинец с редкими посетителями. Тигр. Богомол. Аист. Обезьяна, дразнившая пришедшего

в зоопарк рукопашника. Дракон. Леопард. Змея. Белый журавль. Танцор-капоэйро. Снова белый журавль и опять богомол. Медведь. Олень. Ну и другая фауна.

Схватились. Раздетым было легче бить, закованным в броню — принимать удары. Рыцарскому правилу «один на один» курсантов не учили — готовили к жизни на материке, где идет не благородный шестнадцатый, а подлый двадцать первый век, в котором не до моральных кодексов: гасти противника числом, не стесняйся, а сам оказался в меньшинстве — не жалуйся, переходи на умение.

Разведчики бились спина к спине. Каждый оборонял находившихся сзади товарищей, понимая, что прорыв неприятеля даже на одном из участков приведет к окружению в окружении, и тогда пиши пропало.

Тактика летников была простой, как пляжный шлепанец: вымотать зимников, используя численное превосходство. Раздетые не стали наваливаться всей массой, а разобрали одетых и создали организованную очередь за свежим человеческим мясом: урвал кусок — становись в конец, жди, отдыхай.

У разведчиков перекуров не было — эдакая сдача на краповые береты в переводе на Большую землю. Махать руками и ногами им приходилось гораздо чаще спарринг-партнеров: Ракитянскому с Буриковым — в три, Огрызкину — аж в шесть раз.

На плута не потому насело ползоопарка, что он был более сильным соперником, чем его друзья. Просто в нем начисто отсутствовала предсказуемость, а такие бойцы, как известно, стоят десятка. Парня шатало из стороны в сторону. Он падал не от ударов, а когда ему взбрело в голову. Затягивал песню и тут же ее обрывал. Клял судьбу, власть, проклятый ЖЭК и курву Галку. Стравливал противников, нахваливая одних и принижая других. Ржал. Каялся. Плевался. Хвастал. Лез обниматься. Засыпал и просыпался. Умышленно молотил руками и ногами не по цели. Словом, представлял собой бойца кунг-фу, в совершенстве овладевшего пьяным стилем. Этот человек вообще как будто не ведал, что творил. При этом не только блестяще защищался и контратаковал, но даже как-то успевал попинывать Бурикова, сопровождая это репликой «Бей своих, чтобы чужие боялись». Симбиоз китайского монаха и отечественного алкаша — вот что представлял собой вошедший в раж Огрызкин. Он не трезвел, даже когда попадало по разможенным пальцам — для этих случаев из арсенала доставались те самые пьяные слезы и стоны по загубленной и скотской жизни, на которые так горазд наш человек после того, как кто-нибудь затравит: «Че власть? Сами-то! Мы-то!»

Противники никак не могли сладить с Сергуном, так как вели трезвый образ жизни и не имели опыта общения с людьми под градусом. Ситуацию для них усложняло еще и то обстоятельство, что Огрызкин играл отнюдь не нажравшегося русского, у которого в организме есть разлагающие алкоголь ферменты, положительно влияющие на уровень предсказуемости и адекватности. Чтобы стать совершенно непостижимым для недругов, пройдоха влез в шкуру загулявшего чукчи, о котором прочел в газете «Бескрайний Крайний» (в статье представитель малочисленного народа, цитата: «изгнал заглянувшего в чум белого медведя звонким чилимом, поставленным промеж настырных, желто-карих глаз», конец цитаты). Тактика сработала. Курсант превратился в сущий сопромат для тех, кто выбрал его в качестве цели.

Огрызкин отлично имитировал поведение нетрезвого человека не только потому, что по книжным картинкам тщательно изучил движения шаолиньских монахов, исповедовавших пьяный стиль. Кто бы сомневался, что разбойник еще и лично был знаком с тем головокружительным состоянием, которое тотчас приходит на ум западному обывателю при слове «Россия».

Около года назад по найденному в библиотеке чертежу курсант смастерил самодельный аппарат из подручных материалов и втихаря запустил его в работу на

дальнем охотничьем кордоне. В таежном городе, который жил по сухому закону, это считалось производством алкоголя в промышленных масштабах. Пожизненное заключение грозило и за распитие какого-нибудь случайно забродившего компота, а тут — целый подпольный завод по изготовлению спиртосодержащей продукции, Уралмаш по меркам леса. Но Огрызкина не остановил страх наказания. Он был авантюрист. Такие в детстве открывают новые протоки и затоны, в зрелости — проливы и заливы.

— Я вкушу запретный плод не ради новых ощущений, не ради них, нет, — облизываясь и глотая слюнки, убеждал он себя, пока слезы капали из трубки в приготовленную тару. — Я должен знать, что губит мой народ (иногда Огрызкин был невыносимо пафосен).

Опрокинутая залпом кружка первача произвела апокалипсис в масштабах организма. Чтобы затушить разлившуюся по нутру лаву, Огрызкин подскочил к стоявшему рядом ведру с водой и на какое-то время превратился в почтительного ливонского рыцаря на приеме у папы римского. В те тяжелые мгновения курсант разочаровался в материковых средствах массовой информации, «потому что всё, собаки, врут — выпитая дрянь ну вот никак не может вызывать привыкание и служить средством оплаты за товары и услуги в сельской местности». Но не прошло и трех минут после дегустации, как Огрызкин, стоя на коленях, уже просил прощения у СМИ, выпитой дряни и ближнего кедра, на который до этого помочился. Но этого его раздавшейся вширь душе показалось мало, и он рассыпался в извинениях перед всей тайгой, которую он, «проклятый дура-ак», якобы «загубил».

Умиленное, прощенивоскресное настроение, однако, долго не продлилось. Огрызкин внезапно взбунтовался — бессмысленно и беспощадно. И опять досталось на орехи ближнему кедру. По нему прошелся топор, а затем и похожая на ЭКГ струя негодования, потому что «не надо молчать хариусом, когда с тобой разговаривает главный в мире охотник и последняя надежда России».

Дальше главный в мире охотник гонялся за одной белочкой, а поймал другую. Последствия были ужасными. Огрызкин с топором вернулся к дважды помеченному кедру и спустил с него три коры на уровне человеческого роста, потому что «не надо говорить под руку, когда главный в мире охотник ловит белочку». Неизвестно, чем бы кончил в тот день богатырь федерального значения, если бы его не сморил сон. Проснувшись в блевоте, Огрызкин ничего не помнил. Ничего, кроме телесных и душевных ощущений во время угара. Этого было достаточно, чтобы сейчас, в драке, вытворять такие цирковые номера с насевшими на него зверями, во время которых даже взрослые зрители в шапито в щенячем восторге хватают соседей за рукава и кричат: «Сатри! Сатри!»

Не прошло и пятнадцати минут после начала свалки, как Огрызкин нанес шаолинскому зоопарку ущерб — впрочем, незначительный. Действительно, зачем зверинцу два белых журавля? Право, довольно и одного для знакомства с видом. Не стоит, наверно, горевать и по макаке. Слава богу, в Красную книгу пока не занесена. Да и сама напросилась. Отказалась фотаться. И с кем?! С несчастным корсаром, у которого накануне скончался любимый волнистый попугайчик, не налетавший и десяти авиачасов.

Несмотря на успешное ведение боя, Огрызкин чувствовал неудовлетворенность. Внезапно его осенило: он начал с произвольной программы, забыв об обязательной. И Буриков сейчас же получил пендель под зад, от которого выгнулся, как лук.

— Ах ты ж! — схватившись за черствые булки, крикнул Илья и развернулся на сто восемьдесят.

— Ты меня уважаешь? — осведомился у него Огрызкин.

— Что?! — опешил Буриков и опять развернулся на полный транспортир, чтобы встретить летевшего на него противника.

— Ты меня уважаешь? — повторил обязательную программу Огрызкин для тех, кто не расслышал, резко присел на левую ногу и, подпрыгнув на ней, одновременно описал правой окружность, как артист ансамбля песни и пляски. Надо ли говорить, читатель, что на опасной линии оказалась парочка парней с Летнего конца, фамилии которых специально не разглашаем, чтобы вдобавок к голеням не пострадала еще и их гордость.

— Толя! — воскликнул Буриков.

— А?! — откликнулся Ракитянский,

— Че он творит?!

— Кто?!

— Да Огрызок! Пинаца и пинаца!

— Так ответь!

— Я тебя уважаю, Огрызкин! — вот уж ответил так ответил простодушный Буриков.

— Тады хряпни со мной, — расплылся в пьяной улыбке прохиндей.

— Переведи! — бросил через плечо Буриков.

— Дюбни, намахни.

— Это на каком?!

— На родном.

— Еще синоним!

— Вчикерь.

— Еще! — размазав богомола по танцору-капоэйро, затребовал Буриков.

— Пожалуйста. Козинак.

— Козинак с тобой — это как? Поесть с тобой?!

— Тепло, циклоп. Загуби только.

— Пожрать?!

— Нажраться, дура! — психанул Огрызкин и заорал во всю глотку: — Stop, animals!

От неожиданности драчуны замерли на месте, как в «Море волнуется раз».

— Все, я за нерусей сражаться не буду, теперь сам по себе, — сделал заявление Огрызкин и обратился к знакомому нам парню с Летнего конца: — Сявка, отомри. Подь ко мне ординарцем. Махно не обидит. Ты ж хле-бо-робище у меня. Крепостная косточка. Никто! Никто тута не вспомнил, что град посева покоял! Один ты! — с гордостью за Сявку вскричал Огрызкин, чем переместил шары чубатого парня на лоб. — А им бы только воевать. Град без хлебов нас, а им хоть бы хны. Медведёв будут жрать, Сявка, медведёв! Шоб у них от того лубка несваренье сделалось!

Появившаяся на улице военная полиция не дала драчунам переварить пьяный бред.

Трель свистка. Выстрелы в воздух.

— Ата! — скомандовал Багдасаров, и драчуны бросились врассыпную, как бусинки на порвавшемся ожерелье.

На хвост разведчикам присел один из полицейских — волевой и упрямый курсант с Осеннего конца Дмитрий Северцев. Он не стал размениваться на ребячьи догонялки, а с первой минуты организовал профессиональное преследование: никакой лирики в виде угроз, стрельбы, запальчивых рывков, которые сбивают дыхание и истощают силы. Полицейский зарядился на кросс на износ. Его как будто даже не волновали нарушители. Он словно специально держал разведчиков впереди, как опытный бегун-марафонец, чтобы достать их на самом финише, когда они уже окончательно решат, что задают темп в гонке, и, следовательно, потеряют бдительность.

Полицейскому было плевать, что впереди — трое вооруженных людей. Он олицетворял собой таежный закон, которому никто не имел права сопротивляться. Это было так же верно, как то, что и он, городской, не мог прекратить погоню, а ведь такое пекло, такое пекло — какая уж тут радость в преследовании? Белая каска с красной окантовкой на голове обязывала полицейского бежать до конца, не смотря на то, что в 2003-м один из нарушителей порядка — будь все проклято! — волок его, придавленного лесиной курсанта Северцева, четырнадцать километров по тайге.

Разыгрывалась трагедия, читатель. Полицейский мечтал, чтобы его хватил солнечный удар, так как впереди мелькали пятки спасителя — Ильи Бурикова с Зимнего конца. Но сиявший на голубой тарелке желток, как назло, оставался безучастным к переживаниям полисмена. Нет, можно было, конечно, специально поскользнуться или как бы выбиться из сил и отстать. Но это ж, думал Северцев, самообман. Как потом с этим жить? Как после этого тому же Бурикову в глаза смотреть? К слову, во время бега полицейский уже несколько раз пересекался взглядом со своим спасителем и не увидел в единственном глазу Ильи ни намек на осуждение. Наоборот, воспаленное око Бурикова будто говорило: «Выполняй свой долг, хавбек сибирского „Зенита“. Я спас от ампутации твои придавленные кедром ноги, но сейчас это ничего не значит, кроме того, что теперь они не ведают устали, и мы уже третий километр петляем из-за них по улицам и переулкам».

На счастье Северцева, читатель, у разведчиков имелся Огрызкин, знавший историю со спасением, а еще — что милосердие выше любого закона. Когда настал удобный момент, Сергун избавил от мук полицейского, который, в отличие от своих более профессиональных коллег на Большой земле, совершенно не знал, как примирить службу с дружбой.

В глухом переулке имени Бетховена Огрызкин резко затормозил, как будто перед ним вспыхнул красный, развернулся и стал палящими лучами Ярила, опустив заранее скинутый с плеча АК-74 на каску приблизившегося Северцева. Оглушенный полицейский снопом рухнул на брусчатку.

— Ты что натворил?! — подбежав, сказал Ракитянский. — Ты закон преступил!

— Поправки внес, — спокойно ответил Огрызкин. — Без рассмотрения, правда... Это тот самый парень, которого Буриков с лесосеки на горбу волок. Че молчишь, Буря? Ты ж показывал его мне. Не думаю, что он обидится, когда очнется... Ну и это — квиты вы теперь с ним. Хватит ему, Буря, быть перед тобой в долгу. На нем только один должок висеть должен — перед Россией! Ты лишний в этой долговой яме, пол меня?!

— Да понял, понял, — сказал Буриков. — Хороший парень. Наверняка блок даже не поставил, когда ты ему мозги вышибал.

— Ну и я, извини, не с плеча рубил, — заметил Огрызкин. — Слегонца гвазданул. Жалеючи.

— Надо его в тенек отнести, — сказал Ракитянский. — Раз-два — взяли!

Уложив полицейского под навес, разведчики направились в штаб. Добрались без приключений. Отдав честь солдатам, стоявшим у дверей в здание, вошли внутрь. Взлетели по лестнице на второй этаж. Доложили сидевшему за столом дежурному офицеру, что так, мол, и так — такие-то, такие-то на аудиенцию к главному по поводу спецзадания явились.

— А че запыхались? — с усмешкой спросил штабной, в чертах которого Огрызкин тотчас узрел что-то крысиное: то ли от самого грызуна, то ли от яда.

Разведчики переглянулись.

— Так не на парад собираемся, товарищ майор, — сухо ответил Ракитянский. — Доложите о нас.

— Доложу, когда надо, — холодно произнес штабной офицер. — А вы пока приведите себя в порядок. Ходите тут, как я не знаю. Грязные почище свиной.

— Есть! — с кое-как замаскированной издевкой произнес Ракитянский и застрелился вскинутой к виску пятерней. — Лейтенант Буриков, рядовой Огрызкин, выполнять!

Огрызкин щелкнул по плечу средним пальцем — пропылесосил форму, надо почитать. Буриков поплевал на грязные ладони и провел ими по кителю — помылся, вытерся, значит. Сам Ракитянский, не сводя глаз со штабного, перевязал шнурки с одного бантика на два.

— Издеваться?! — перекосило майора. — Да я вас под трибунал! Не бывать на передовой ни вам... — штабной осекся.

— Ни тебе, майор? — тихо продолжил Ракитянский.

— Да, ни мне, — доволен?! — взорвался штабной, выдохнул и уже спокойно добавил: — Пришли — ждите. У главкома сейчас начальник артиллерии фронта.

И тут разведчики всё про дежурного офицера поняли. Прозревший Огрызкин вдруг увидел, что майор совсем не похож на крысу — просто лицо в нос ушло, грузинские у парня корни.

— Рапорт о переводе писал? — участливо спросил Ракитянский у штабного.

— Писал... Отказано.

— Огрызкин! Буриков! Привести себя в порядок! — рявкнул Ракитянский, и прозвучало это как «все, что могу, майор, все, что могу».

В этот момент дверь распахнулась, и от главкома вышел бледный, выпотрошенный, как рождественская индейка, семнадцатилетний полковник. Вдогонку ему несло:

— Божок войны ты, а не бог! На капище тебе место, а не в артиллерии! Два часа сроку даю! Нет, жирно два — еще уложишься, подлец! Я тя знаю! Час двадцать, и ни секунды сверху! Лично проверю! И захвати зеленку! Не успеешь — ставь крест на лбу, карьере, жизни!.. Жирбанидзе!

— Я, тащ генерал! — вытянувшись, откликнулся штабной офицер.

— Есть кто еще?!

— Фронтная разведка! По особому заданию!

— А-а, без них голова кругом! — взвизгнул генерал. — Гони их к чертовой матери! Должна же быть хоть у одного! Нету?! К мачехе перенаправь! А и той тью-тью! Сиrotское войско! Всех мне подбросили — вой, генерал!

— Заходите, парни, — уверенно сказал майор. — Чудит старик, как обычно. Не доводилось под его началом быть?

— Мне только, — сказал Буриков. — В 2002-м. Но так-то личность известная. Кто ж не знает Георгия Победоносца?

— И Гогу Фартового, — добавил Огрызкин. — Ну, я про мирное время.

Вошли. Вытянули руки по швам. Цокнули каблуками на берцах...

Скрестив ноги и руки, опираясь костлявой задницей на огромный дубовый стол, застеленный картой боевых действий, как скатертью, стоял худощавый семнадцатилетний генерал-лейтенант Георгий Брянцев. Роста был наполеоновского. Военного дарования такого же. Двигался быстро. Говорил короткими предложениями, отрывисто, в возбужденном состоянии — с перескоком на фальцет. Смотрел с лукавым прищуром. Шутил колко. Смеялся звонко, рассыпчато, но в ересь безудержного хохота не впадал, мог вмиг, безо всякого переходного периода, стать серьезным, суровым, даже жестоким. Продвигался по службе со стремительностью попавшего под Сталинград-42: сегодня — взводный, завтра — ротный, послезавтра — комбат. Первое

время к нему, как и к другим юным командирам, приставляли военных советников из числа материковых экс-офицеров. Но уже с восьми лет он командовал вверенными ему подразделениями самостоятельно. Рядом с ним наши разведчики казались мальчишками в гольфах. Тот же Ракитянский, например, вышел из-под опеки советников всего пять лет назад — аж в двенадцатилетнем возрасте.

— Товарищ генерал-лейтенант! — начал Ракитянский доклад. — Разведподразделение в составе...

— Отставить, — махнув рукой, перебил главком и живо подошел к Огрызкину. — Что с пальцами, воин?

— Порезался малость.

— Разбинтуй. Гляну.

— Да там ерунда, тащ генерал. Не стоит внимания.

— Приказываю.

— Мне несподручно одной рукой развязывать, — улыбнувшись, сказал Огрызкин. — Может, вы пособите?

— Нет, ну не борзый ли, — опешил генерал от такой наглости. — Впрочем, люблю. В деле такие хороши. Дай руку пожму.

Огрызкин протянул здоровую правую ладонь.

— Левую! — взвизгнул генерал. — Это армия! Раз-два — левой!

Огрызкин подчинился. Генерал стиснул перевязанную ладонь. Ни один мускул не дрогнул на лице Огрызкина. Вот только слеза выкатилась. Сама. Без спросу.

— Протек, боец, — заметил генерал.

— От радости, — не растерялся Огрызкин.

— Да ну! И че ты так обрадовало?

— Георгий Брянцев руку пожал, — вскинув подбородок под прямым углом, отчеканил Огрызкин. — 2001-й. Победа при Гринвуде. 2002-й. Марш через Гиблую Падь. 2003-й. Брянцевский прорыв. 2004-й. Атака у Желтых холмов. 2005-й. Высадка на Эльфийском...

— Хорош! Хорош! Хватит! — замахав руками на Огрызкина, как секундант на боксера в перерыве между раундами, закричал генерал и неожиданно: — Сколь верст до Луны?!

— Два брянцевских перехода!

— Врешь, собака! Суворовских там! Навязались на меня! Подведешь — зарублю! Я топором, как Петр Романов: корабли, головы, евроокна!

— Сдохну, а не подведу! — пообещал Огрызкин.

Генерал перешел к Бурикову и впился в его лицо комаром. Сосал, сосал — отвалился довольный.

— Узнаю, узнаю, — обняв Илью за плечи, склонив голову набок, обратился генерал к Бурикову так, как, должно быть, Кутузов обращался к солдату у Бородино, которого помнил по Аустерлицу. — Сержант Буриков... Да вижу, вижу, что летеха! Растешь! Не сказать, что как на опаре, ну да все одно! Как мы им тогда насовали, а?! Драпали от нас, с... дети! От малолеток-то! — лукаво прищурившись и стукнув Бурикова в грудь тыльной стороной ладони, весело вскричал генерал, как будто от малолеток драпали не такие же молокососы, а седоусые ветераны.

— Еще как драпали, товарищ генерал-лейтенант, — расплывшись в восторженно-дурацкой улыбке, произнес Буриков. — И еще, и еще насум, как вы скажете.

— Молодец, только без шапкозакидательства мне, — серьезно сказал главком. — Прощу к столу, товарищи офицеры и как там тебя, рядовой?

— Огрызкин!

— От яблока? — подмигнув, спросил генерал.

— Груши, — буркнул Огрызкин.

— Не обижайся, брат. Шучу. Сам знаешь, на Играх — главком, после — Гога. Найдешь меня в Весеннем конце, если за пальцы дуешься. Переулок Стоеросовый. Спросишь Фартового. Покажут. А сейчас к делу. — Генерал взял указку и, продирижировав ее в воздухе, вонзил в карту. — «Красные» выдвинулись сюда. Десять наших разведгрупп отправились вслед за ними. Выживут в лучшем случае три-четыре. — Пауза. — Контрразведкой «красных» рулит сам Витька Шестопалов.

— Шестопалов! — в голос воскликнули разведчики.

Кто не знал Шестопалова? Все знали. Контрразведчик от дьявола.

— Верно, лучше б за нас играл, ну да что теперь? — развел руками генерал. — Шести-семи разведгруппам — царство небесное, хорошие ребята были. Можете уже прям сейчас каски снять и помянуть товарищей, — заживо похоронил главком ушедших в рейд подчиненных и продолжил: — Данные от уцелевших разведчиков будут разрозненными. Полной картины по этим сведениям не составить. Да и шут с ним — не на эти десять групп мой расчет. Они только прикрытие для вас. Оттяжка сил. Пусть их хоть всех там сцапают и в застенках перемучают — лишь бы вы добрались. Они все, абсолютно все будут действовать перед фронтом. Ваша же задача зайти «краснопузым» в глубокий тыл. Для этого придется дать широкий крюк, чтоб не нарваться на засады. Они теперь по всему лесу расставлены. Обходная дуга должна быть такая конкретная, чтобы можно было подумать, что вы решили дезертировать в Россию, но на полпути вспомнили о долге. В тылу противника вы уже, само собой, шаритесь в красных касках. Штирлицы такие. Не анекдотичные — настоящие. Потритесь с часик в тылу, понюхайте — и к передовой топайте. А там разбегайтесь в разные стороны и кочуйте от части к части — вроде вестовые со срочными пакетами. Трое суток, чтобы добраться. Двое — на сбор данных. Три часа на возвращение — мы уже к этому времени рядом будем.

Из города выйдете, как все группы до вас — по одной из «красных» дорожек. Сильно не прячьтесь. Не как на параде, конечно. Но и не хоронитесь особо. А то знаю я вас: нацепляете на себя веток, обложитесь мхом, и ищи-свищи вас. Не маскируйтесь под тайгу. Не надо этого передвижного ельника, пихтача ли. Наоборот, поторгуйте собой на выходе. Потому что часть «красных» осталась здесь — я Шестопалова знаю. Его ребята сейчас пасут за теми, кто выходит из города, и телефонируют: «Встречайте „синих“ олухов». Пройдете полукремлевцами километров десять — и круто забирайте на север. Не забудьте перекрасить каски в главный пасхальный цвет. Вопросы? — произнес генерал и тут же отрезал: — Я не люблю... Жирбанидзе! Командиров второго, пятого, седьмого, двенадцатого полков — ко мне!

16

Выдвинулись... Поначалу, как было велено, «синие» разведчики шли, почти не прячась: привлекали внимание «красных» лазутчиков. Чтобы засветиться на сто процентов, на втором и третьем километрах громко переругались. На четвертом для верности разодрались. Перед началом потасовки Огрызкин испросил разрешения на использование ненормативной лексики, чтобы, по его словам, не только привлечь внимание врага, но и создать у него впечатление полного морального разложения в рядах «синих». Ракитянский признал аргумент резонным и санкцию на мат дал. Дать-то дал, но условий никаких не выставил, поэтому был сразу обозван распоследними словами и послан гораздо восточнее Камчатки, из-за чего едва не за-

хлебнулся — то ли от ярости, то ли в Тихом океане. Досталось и Бурикову. Он был обложен, как язык во время болезни, после чего подробно узнал обо всех своих предках до четырнадцатого колена. В пятнадцатом Огрызкин ковыряться не стал, заметив, что наверняка тоже ничего хорошего — какая-нибудь портовая девка и далекий от святости дух (выражения матерщинника заменены на более мягкие из цензурных соображений). После такого драка, разумеется, вышла натуральнее некуда.

Пройдя десять километров, разведчики взяли на север. С ходьбы перешли на среднетяжелую трусцу. Если ты, читатель, не из Сибири, то должен тебе напомнить, что тайга — это не равнина, а вспузырившаяся сопками поверхность, густо заросшая хвойными. Бежать не очень-то приятно. Кругом, извини меня, все в деревьях, которые посажены Богом далеко не квадратно-гнездовым. От этого маршрут человека всегда змеевидный — петляешь, петляешь, увеличиваешь себе расстояние. В гору совсем тяжело, но и при спуске не веселее: не разгонишься во весь дух, чтобы взлететь на треть следующей сопки. Приходится себя сдерживать, иначе махом лоб расквасишь. И ладно бы кедры росли поскромнее. Не выпячивали хотя бы свои корни, которые повсюду торчат из-под земли, как руки древних старух, — мол, смотрите, люди и звери: это наш рот, через него мы питаемся. Подножка на подножке, в общем.

Мох этот еще. Это ж валяться на нем здорово, а бежать по нему — хуже некуда. Вязнешь, утопаешь постоянно, как в сугробах. Да и валяться-то на мху, признаться, не очень. Перина хоть и важная, да влажная. Отчего мох потеет — черт его знает, я не биолог. И ведь, главное, под ногами сырость разведена, а климат при этом идеально сухой, проигрывает в конкурентной борьбе только Сахаре с Калахари.

С воздухом тоже все не слава богу. Ведь до того ж чистый и кислородом перенасыщенный, что, вдыхая его, испытываешь головокружение с тошнотой, как после карусели. Нет, воздух проблемой для бежавших разведчиков, конечно, не был. Придышались с годами. Я это для того сказал, чтобы тебя, читатель, предупредить. Если попав в нашу тайгу, разбежишься на радостях до свиста в ушах (а это частый случай вне зависимости от возраста туриста) и заплохет тебе — не переживай. Привыкнешь к стерильности атмосферы. Человек ко всему приспосабливается.

Знаешь, читатель, вот смеются над нами иностранцы, говорят, что мы только импортировать и умеем, а того не знают, что у нас за Уралом вся местность в зеленых заводах. «Даешь миру кислород!» — на мартезовских кедрях высечено. То не туман — дым из миллионов труб валом валит! Производство оптимизировано донельзя — жалкая горстка лесников за цехами приглядывает. Сбыт и логистика, правда, пока налажены плохо: куда ветры — туда экспорт целебных воздушных масс.

— Газы! — скомандовал Ракитянский.

Дисциплинированный Буриков полез на бегу расстегивать подсумок с противогазом.

Огрызкин ушам своим не поверил. Уж что-что, а такой подлянки на марш-броске от капитана он не ожидал.

— Какие еще газы?! — взбрыкнул Огрызкин. — Какие газы?!

— Хлор, — ответил Ракитянский.

— Кэп, окстись! — призвал Огрызкин. — Или я подумаю, что ты с дуба рухнул посередь кедрача! Воздух чист, как совесть Бурикова! Какой еще хлор?!

— Условный!

— Побойся Бога! Жара, как на противне!

— Выполняй приказ, — бросил Ракитянский.

— Я-то выполню, я выполню! — на бегу говорил Огрызкин. — Только ведь нам полтайги отмахать надо! У нас задача! Зачем ее усложнять?! Нормально ж бежали!

— Выполнять!

— Дай хоть слово сказать!

— Обойдешься!

— Хоть междометие!

— Да хоть заахайся. Газы, я сказал!

— Элефант, ты че молчишь?! — на бегу дернув Бурикова за гофрированный хобот, как веревочку на сливном бачке, воскликнул Огрызкин. — Это ж издевательство! Ты хоть ему скажи, что газы неактуальны! На дворе век информационных технологий! Ты ж читал журналы, когда авиасообщение было! Спецназ скоро за компьютеры сядет! Будет выкашивать дивизии нажатием клавиш! А у этого — газы! Это ж античность! Он бы еще скомандовал: «Конница — справа!» Какие, блин, газы?! За что?!

— Конкретно тебе — за мою родову, Моська! — глухо вострубил слон.

— Придурок, — сплюнув, изрек Огрызкин и начал вытаскивать противогаз. — В России не звони мне даже! Знать тебя не желаю! Через Ракитянского все про тебя, дурака, вызнать буду! По косвенной связи!.. Чтоб ты сдох от безделья в регионе-доноре! Чтоб ты в командировке был, когда в твоём доме пожар и детей выносить надо! Чтоб ты траванулся чебуреком и у тебя в бою понос случился — докажи потом, что не от страха обделался! Черенковой вон до сих пор припоминают! Весь скафандр при приземлении уделала! Так то женщина в космосе! Из тубиков ела! Перегрузки испытывала, чтоб ты, дурак, говорил: «Зачем нам нормальные машины, если все равно пересядем на ракеты?!»

Оставим разведчиков. Им еще бежать и бежать. Сейчас необходимо сказать о сказочной красоте тайги. Ни за что не стал бы этого делать, если бы не производственная необходимость. Есть в наших палестинах такой негласный закон: описывать прелести темно-зеленой Родины только в крайнем случае. Инвесторов боимся, читатель, потому что за ними — это уж как пить дать — припрутся нечистоплотные туристы и все загадят. Честное южносибирское, я оттягивал про красоты, сколько мог, но дальше молчать уже никак нельзя, иначе станет непонятно, как в нашем захолустье могло случиться то, что случилось.

Слава богу, я слабый специалист в описаниях природы, поэтому большой беды от меня не будет. Ликую от некомпетентности своей. Чувствую себя трусливым партизаном в застенках СС, который все равно умрет Героем Советского Союза, так как тупо не знает, что говорить. Не обладает ни сколько-нибудь важными данными, ни подвешенным языком — хоть на куски режьте. Места у нас расчудесные — вот все, что выродил за три часа упорного сидения. Придется тебе, читатель, поверить на слово, что тайга у нас такая во всех отношениях знатная, что мы не понимаем, почему ей до сих пор не присвоили княжеский титул. Заметь, не царский — княжеский. Просто попадая в наши дремучие, первозданные, изобилующие зверем, птицей и насекомым леса, человек видит, что очутился даже не в средневековье, в котором наблюдалась маломальская человеческая активность, а прямо-таки в былинном времени, где на тыщи верст — ровно три богатыря, коих 407 соотечественников и 652 иноземца знали по имени-прозвищу. А это где-то десятый век, не знавший царей — только малых и великих князей.

И вот, значит, в начале двадцать первого столетия один из сильных мира сего, который родом из наших краев, поведал своему шефу о заповедных землях в центре России, якобы выгодно отличающихся от лучших мировых курортов. В перерыве между заседанием по внешней политике и совещанием по социалке, блеснули в разговоре, как золото, серебро и бронза, три тайги в следующей очередности: сначала — тувинская, потом — хакасская, затем — красная. Нашей крале было отведено второе место, но мы тут, в Хакасии, твердо знаем: тувинский кулик высокого полета просто нагло перехвалил родное болото.

Разрекламированные места для активного отдыха пришлось первейшему лицу по вкусу, и борты № 1 и № 2 стали летать в сибирскую глубинку. Неудивительно. Сам-Пресам хоть и орудовал ножом и вилкой не хуже английского лорда, но был рожден, чтобы есть с одного ножа, если вообще не голыми руками, как германский варвар. Ему претили песчаные пляжи, люксовые отели, изысканная кухня, предупредительный персонал, которые превращают мужчину в женщину. Он любил снега по пояс, неотесанные срубы, варево из дичи и суровых охотников, которые хоть Самому-Пресамому не побоятся сказать: «Мы для чего на тебя матерого гнали? Чтоб ты жалел его, как своих амурских тигров? Здесь тебе не там, чтоб гринписить. Взял ружье — бей!»

Раз уж затесалось первостатейное столичное лицо во второсортный периферийный роман (а иначе и быть не могло, без альфа-самца сейчас ничто не движется, и это уже накаляет, потому что никакой полубог в одиночку не вывезет огромную страну), то надо сказать, что сибиряки его крепко уважают. Возможно, чтили бы меньше, если бы им от государства что-то было надо. Только ведь сибирякам почти ничего не требуется — умеют обходиться малым. Кроме того, люди они свободные и независимые, привыкли жить самостоятельно, своим умом, ни на кого не рассчитывая.

И уж как приятно сибирякам, что московский гость выбрал для отдыха именно их глухомань. Рабочий люд относит это к тому, что первейшее лицо — настоящий мужик. Интеллигенция не соглашается, говорит, все дело в отличном вкусе. И вдвойне приятно сибирякам, что они вот не могут себе заграничные юга позволить, а столичный гость может — да не позволяет. Такие пироги с ливером...

17

Разведчиков взяли в плен на второй день — за несколько часов до захода солнца. Чтобы марш-бросок не казался подчиненным медом, Ракитянский дал команду «отбой» в хорошее для бега вечернее время, когда жара спадает и дышится легче. Огрызкин назвал это очередной дуристикой, но бухтеть не стал — спать так спать. Поменяли ларьки с холостыми патронами на супермаркеты с боевыми. Подстрелили трех бурундуков по числу едоков. Почитали про нанотехнологии, развели костер из первых страниц. Пожарили полосатиков, поели и вырубались. Минут через сорок сон сменился беспамятством от ударов прикладами.

Очнулись уже со связанными руками и ногами. Вокруг были молодые люди в военно-полевой форме, но не «красные», а всякие, разные: бледнолицые, красно-, желто- и чернокожие.

— Вы кто? — вытерев кровь со лба, спросил Ракитянский.

— Те, кто вас в плен взял, — ослабившись, ответил юный мулат на международном.

— Я тебе сказал говорить на их языке, — по-русски зарычал на мулата смуглый европеоид с бычьей шеей и похожим на подпись Зорро шрамом на щеке. — Забыл, чему нас учили? В чужой стране думай и говори на ее языке. Здесь тебя могут выдать даже деревья. Они отлично помнят тридцать седьмой, судя по виденным нами пеньковым кольцам.

— Этот лес не выдаст, — буркнул мулат на разрешенном языке. — Его как раз рубили в то время. Он за нас. Он ненавидит русских. Он знает, почему лесоповал. Он не хочет повтора.

— По лесу будешь ходить под Рязанью или Тулой, — властно заметил европеоид со шрамом, из чего разведчики сделали вывод: этот у чужестранцев главный. —

А здесь тайга, парень. Не лес. Не бор. Не роща. Не чаща и не дубрава. Сибирская тайга, которой в наших краях пугают малых детей.

Пленные переглянулись. В уголках ртов промелькнули улыбки. Несмотря на гнетущие мысли, которые обуревали разведчиков, им было приятно, что иностранец отличает непонятно что от тайги. Огрызкин прямо еле сдержался, чтобы не подмигнуть Бурикову — мол, да, этот с буквой Z на щеке молодец, сообщает, что к чему.

Их было десятеро. Вооруженных до зубов. В пятистой форме «Северного альянса», что ровным счетом ничего не значит, так как натовка — одежда прочная, удобная и практичная, — в той же Сибири ее часто заказывают для себя охотники, рыбаки и фермеры. Молодые чужеземцы, сброшенные, скорей всего, с воздуха, прошли, судя по всему, такую же серьезную, как и жители нашего города, военную подготовку — дилетантов вряд ли бы послали в тайгу. Хорошо, что гражданство парней неизвестно — не нарвемся, по крайней мере, на международный скандал. Если исходить из различных цветов кожи иностранцев, то они могли представлять собой и интернациональный отряд и командос из страны, где так же, как и в России, проживает множество разноликих народов. В общем, это мог быть кто угодно.

— Мы ищем большого человека, — обратился к пленным чужеземный главарь с Z-образным шрамом на щеке.

— Никак снежного, — тренькнул Огрызкин. — Так он недавно..

— Заткнись! — оборвал главарь. — На идиота ты не похож, поэтому не надо. Заметь, меня даже не интересует, кто вы такие и сколько вас таких по тайге бродит. Повторяю: нам нужен большой человек. Знаете, где его искать?

— Я — нет, — ответил Ракитянский.

— Тоже, — пожал плечами Буриков.

— Понятия не имею, — замкнул незнайкино кольцо Огрызкин.

Не соврали. Действительно ни сном ни духом..

— Уточняю, — сказал главарь. — Так как вы, кажется, здешние, то должны были видеть вертушки. Раз в квартал. Может, в полгода. Не обязательно над головой. Рядом. Меня интересует направление полета, если смотреть с этого места. Север?.. Юг?.. Может, северо-запад?.. Юго-восток?.. Северо-восток, нет?.. Юго-запад?

Во время речи иностранный главарь внимательно наблюдал за пленными. И таки дождался — сверкнули глазами. Значит, видели. У двоих вспышка на слове «вертушки». Третий указал сроки. Направление не выдал никто. Надо было лучше формулировать, второй раз не купятся, подумал интервьюер.

— Мне добавить нечего, — сказал Ракитянский.

— И мне, — произнес Буриков.

— Я человек сугубо плотский, земной, смотрю не наверх, а под ноги, — доложил о своей природе Огрызкин.

— Лжете, — бросил главарь. — Советую подумать... Не скажете — будем пытаться.

Ну пытайте, раз надо, — буднично ответил Ракитянский.

— Другого выхода для них не вижу, — повернувшись к Ракитянскому, сказал Буриков.

— Эй, Якудза, Апач, Латинос, Ариец Большой, Раджа, Австралопитек, Капустинtwo, Ариец Короткий, Истинный, Талиб! — обратился Огрызкин к стоявшим вокруг, заодно присвоив им прозвища в соответствии с типом лица. — Чур, меня огоньком мучить! Настродался я в Сибирих от морозов! Это не у вас там!.. Кстати, откуда будете?! Давайте из Швейцарии! А то нехило устроилась! Все грызутся, а она и нашим и вашим! Сколько уже можно банковать?! Хорош! Решено — вы из Швейцарии!

— Он у вас всегда такой? — с сочувствием спросил у Ракитянского чужеземный главарь.

— Не твое вражье дело, — был ответ.

— А у нас Круз такой, — пропустив грубость мимо ушей, миролюбиво заметил главарь и весело обратился к тому, которого Огрызкин нарек Раджой: — Эй, Круз! Видел себя? Это ж ты на земле лежишь. Полюбуйся.

— Они вообще все на нас здорово похожи, — заметил тот, которого Огрызкин назвал Талибом. — Один в один. Страх нет. Одна досада, что попались. На воинов напоролись, будь они прокляты. А это значит...

— Что пытать их — только время тратить, — продолжил парень, в котором Огрызкин разглядел Якудзу.

— Нет, помучить-то можно, — подключился Апач. — Но мы же не садисты, чтобы делать это просто так. Мы честные солдаты. Они тоже. И мы сейчас в этом убедимся. Русские! — сказал парень пленным. — Пытать вас бесполезно. Отпустить, взять с собой нельзя. Что бы вы сделали на нашем месте?

— Расстрел, — хладнокровно произнес Ракитянский. — Вы обязаны нас ликвидировать. Или мы ликвидируем вас.

— Эх, не бывать мне, видно, в Петербурге, — тяжело вздохнув, пробормотал Буриков. — Не пройтись по Невскому, не поклониться Петру Алексеичу, не познакомиться с Боярск...

— Давай растрогай их еще, мечтатель сраный! — зло перебил Огрызкин. — Парням убивать впереди, пожалел бы их! Они должны видеть в тебе русскую свинью, как им там напели! А ты им ее подкладываешь! Перед самым-то грехом! Не хватало, чтоб ты им снился со своим Питером, Махонький Принц! Че ты в Питере не видел?! Неча там смотреть! Ты про Питер знаешь больше, чем его коренные! Экскурсии можешь водить! — увидев, что Буриков сам не свой из-за Петербурга, Огрызкин изменил тон: — Ты что пригорюнился, Илья? Ты это брось. Не смей из-за Питера, слышь? Не стоит он того. Лучше бойся смерти, нам с Ракитой легче будет. Не стесняйся, Илья. Все свои тут. Солдаты все... Был ли кто в Питере?! — спросил Огрызкин в надежде на то, что недруги — достойные люди и поймут, какого он хочет ответа. — Санкт-Петербург — полное название. Северная наша столица.

— Я проездом, — не разочаровал тот, кого Огрызкин окрестил Австралопитеком.

— Ну и?

— Так себе город... Серенький... И по отделке, и вообще.

— Слышь, Илья? — сказал Огрызкин. — Серенький... Парняга явно предвзят, но его можно понять. Я бы в 1945-м о Берлине тоже, знаешь, не очень-то выразился. Но в целом он прав. Питер — так себе населенный пункт. ПГТ и ПГТ. Болотина замощенная. Может, только статуйку Чижика-Пыжика и стоит посмотреть. Из людей — одни интеллигенты. А не соблаговолите ли вы да позвольте-с. — Жалость к Бурикову внезапно захлестнула Огрызкина горячей волной. — Знай, ты лучший из нас, брат! Ракитянского в десять раз! Меня в тыщу! Нет, меня в пятьсот, а то возгордишься перед смертью, и Бог тебя накажет, идиота... Эй, ребята! — бросил Огрызкин чужеземцам. — Мне плевать, как у вас принято пускать в расход! Или кончайте всех разом, или Бурикова первым! Не хватало, чтоб у него сердце разорвалось, глядя на наши трупы! Оно у него — не нашим всем чета! За весь мир болит, включая места, где все нормально! Первым чтоб Бурикова, слышали?! Я посмотрю, какие вы солдаты! Я проверю!..

...Рыли себе могилу под прицелами автоматов и винтовок. Главарь командос сказал, что любой боец — свой ли, вражеский — должен быть предан земле, а не перевариваться в волчьих желудках, не вываливаться из лисьих задниц по всей тайге.

— Нет, а почему я должен рыть себе могилу? — окопавшись по колено, проворчал Огрызкин. — Мне что, больше перед смертью заняться нечем?

— Они по-человечески с нами хотят, — улыбнувшись, сказал Буриков. — Хорошие ребята. Мы их задерживаем, а они все равно.

— Ты дурак или как? — спросил Огрызкин. — Напоминаю: они враги. Ищут нашего с тобой соотечественника. И далеко не последнего, как ты в бухучете. Блин, спорное сравнение получилось! Не поймешь, то ли в авангарде ты, то ли в хвосте плетешься... Толян! Буриков вообще у нас даун, оказывается, — воткнув саперку, заявил Огрызкин. — Уже врагов полюбил. Дай волю — обожать начнет. Матфей Заенисейский.

— Замолкни и рой, — произнес Ракитянский.

— Не буду.

— Будешь.

— Замолкнуть — замолкну, а рыть не буду, — начал торговаться Огрызкин. — Им надо, вам надо, а мне нет. Меня можно лапником притрусить, и все, я не гордый. И вообще, может, я тебе с Буриковым посмертную оппозицию составить хочу. Поэтому мне нужно лежать отдельно. Имею право — все-таки пока еще в свободной стране умираю. Канем плечом к плечу, как полагается товарищам, а потом извиняйте, я сам по себе. Кроме того, медведям надо жир на зиму нагуливать. Кто о них подумает? Огрызкин, больше некому. Вы ж под землю лыжи наострили. А я справный, само то для хозяина. На свеженину он, конечно, не позарится. Ему тухлятину подавай. Не бойсь, Ракитон, — все рассчитано. Сейчас лето, пекло вон какое, махом спорчусь. Хочу даже Якудзу попросить, чтоб харакири мне своим мачете сделал. Кишки наружу — смрада больше. Кстати, ты не знаешь, зачем Якудза захватил сюда мачете? Где он тут лианы увидел? Блин, наберут из амазонских джунглей, а потом мучайся с ними!

— Да заткнешься ты или нет? — бросил Ракитянский.

— Это можно, — ответил Огрызкин. — Но под условие.

— Говори уже.

— До пояса в землю углубляемся, и довольно. Скоро солнце начнет садиться. При свете дня сдохнуть хочу... Ну, желательно.

— Тогда рой в темпе, — сказал Ракитянский.

И работа закипела...

Когда могила была готова, Огрызкин походил по ней туда-сюда, придирчиво осмотрел каждый уголок, подтесал неровности на стенах, после чего заявил неприятелям, что не мешало бы устелить дно лапником. На вопрос Арийца Меньшого «Зачем?» последовало следующее объяснение: «Чтоб нам, сибирячкам, падать было мягче, если кое-кто не умеет отправлять на тот свет с первого выстрела и нуждается в контрольном».

Вражеское хмыканье. Прикручивание глушителей к оружию. Десять беззвучных одиночных. Падение с кедров шести бурундуков и четырех белок. Отпадение необходимости в лапнике.

Пленных развязали. Заставили раздеться до пояса и встать возле могилы. Взяли на мушку.

— Можете сказать последнее слово, русские, — произнес молодой главарь со шрамом.

— Да хоть десять! — живо откликнулся болтун Огрызкин. — Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!.. Блин, как-то банально получилось. Так ниче ж в голову не идет, меня первый раз расстреливают, опыта нет... Давайте по-простому лучше. Вы зря к нам пришли, парни, ой зря. Мы собственной стране ума пока дать не можем, это правда. Но и вы у нас хозяйничать не будете. Никто не будет. Даже из благих намерений. Ныне, присно и во веки веков. Аминь... Вот гляжу на вас — умные

вроде ребята, языки знаете. На нашем без акцента лопочите. Ну не то чтоб там совсем чисто, зато по-своему прелестно. У вас акцент, как у наших инородцев: удмуртов, бурятов, дагов, адыгов. Так вот согласитесь, хлопцы, для чего-то ж Россия раскинулись на полсвета. Уж наверно, Господь нам такую территорию не просто так отмерил. И вы сто процентов в курсе, что у нас нет Дня нападающего Отечества. Защитника только. Потому что чужая земля нам даром не нужна. Своей как дерьма за баней, устали отстаивать. И мы до родной земли — вот это крепко запомните! — страсть какие куркули. Последнюю рубашку с себя — пожалуйста, а почву — хрен... Вот не хотел говорить, но мы, чтоб вы знали, намеренно не развиваем дорожное хозяйство и многое другое, чтоб враги погрязли в нашей грязи и многом другом. Препоны для супостатов в виде убитых трасс, никакущих коммуникаций и прочей инфраструктуры — это мы все специально, да. Это нацполитика такая, одобренная нашим народом еще при Вешем примерно Олеге. Не на сознательном, конечно, — на глубинном подсознательном уровне одобренная... В том же духе и продолжим. Да, верным путем идем. Так и продолжим, да.

— Я протестую! — с искаженным от гнева лицом бросил Ракитянский. — Говори за себя!

— О-о-о, — передразнил Огрызкин. — Протестует он... Тебе, мой лютый Лютер, отдельное слово предоставлено будет. А я с вражеского позволения свою речь продолжу. Так уж вышло, что не доведется мне послужить родной земле. Не говорю о великих делах, не до жиру сейчас — двор бы хоть подмести в Воронеже или, там, Уфе. Я бы вот ни сориночки не оставил. Подмел бы, вымыл и насухо вытер, чтоб без разводов, — сообщил Огрызкин, как будто кто-то другой, а вовсе не он только что говорил, что в грязи и разрухе спасение России. — Вот языком бы все вылизал.

— Не переживай, Сережа, другие вылижут, — ободрил Буриков.

— А я не хочу, чтоб другие! — вскипел Огрызкин. — Я сам хочу! Я эгоист, понятное?! А того, за кем вы, парни, охотитесь — вам не взять. Вы только первый кордон прошли, на авангард наткнулись, а дальше хана вам. Мы таежники и плохо знаем нужного вам человека, читали только о нем. Кто-то его любит. Кто-то нет. Но он наш соотечественник, понимаете? Сто пятьдесят миллионов встанут за него без раздумий. Не потому, что он такой уж прям хороший. Грехов хватает у него, как у всех. Наш он просто. А русские своих не сдают. И если кому-то и решать его судьбу, то не вам, а нам. Потому как не ваш он слуга — наш. Спасибо за внимание, я кончил... Ты, Илья, что скажешь?

— Добавить нечего, — ответил Буриков. — Ты про главное все сказал. Спасибо, брат, а то я очень волнуюсь. Мысли совсем повывлетали.

— Ну хоть про второстепенное скажи, про личное. Перед смертью разрешается.

— Смеяться опять будешь.

— Да будь я проклят, если заржу, — сказал Огрызкин. — И потомки мои до 5000 года. С потомками лишка хватил, согласен. Ну да ты меня понял.

— А по секрету можно? — попросил Буриков.

— Перед смертью все можно, брат, — заверил Огрызкин. — Тут ребята с понятием собрались, последнее слово даже предоставляют, как в киношных сценариях. Лезь мне в ухо, не смущайся.

— Сережа, я девочку ни разу не целовал, — прошептал в раковину Буриков. — Как это, интересно, девочку поцеловать?

— Да никак, Ильяха! — громко сказал крупнейший специалист по поцелуям, только не практик, а теоретик. — Нашел из-за чего сердце рвать. Даже не бери в голову. Переход микробов из одной полости в другую. Разнос бацилл, и ниче более. Хожде-

ние вирусов в пространстве. Что все эти амуры? Мороженое не попробуем — вот это я понимаю потеря!

— Так грызли же мерзлую клюкву, — заметил Буриков. — То же мороженое. Натурпродукт.

— А я вот с консервантами хочу! — воскликнул Огрызкин. — Блажь, понимаешь, такая нашла. Точно на бабу беременную. Ладно, хорош болтать... Толя! Скажешь че напоследок?

— Не, — ответил Ракитянский. — Последнее слово за мной останется.

— За тобой? — удивился Буриков.

— Со мной, я хотел сказать. Оговорился... Не за мной. Со мной. Ничего не хочу говорить, короче.

— Дело хозяйское, — произнес Огрызкин. — Тогда будем прощаться, братья.

Попрощались. Обнялись. Троекратно поцеловались. Огрызкин попросил, чтобы атеист Ракитянский и сомневающийся Буриков перекрестились — хотя бы из уважения к древнерусскому обычаю. Просьба была удовлетворена. Однако Огрызкина это не устроило. Он взял на себя роль священника и перекрестил друзей своей рукой, сказав, что знамения лишь тогда могут считаться действительными, когда их накладывает настоящий православный христианин. Такой, как он. Сергей Огрызкин. Погрузившийся в карцерные воды с головой три раза, как того требует обряд.

Замерли. Настроили взгляды: каждый — в соответствии со своим пониманием последних секунд перед встречей с неизвестностью.

Огрызкин твердо смотрел на врагов — в упор...

Ракитянский спокойно глядел поверх неприятельских голов — в бесконечную даль...

Буриков поднял единственный глаз к небу... То, что он увидел, поразило его. Несметная рать стояла в звонкой голубой вышине. При полном параде. С развернутыми, реявшими на ветру хоругвями и знаменами. Бесчисленные шеренги павших воинов всех времен. Богатыри Владимира Святого. Дружинники Александра Невского и Дмитрия Донского. Стрельцы Ивана Грозного. Ополченцы Минина и Пожарского. Петровские преображенцы и семеновцы. Гренадеры Суворова. Кирасиры Кутузова. Матросы Нахимова. Солдаты Брусилова. Бойцы Красной и Белой армий в соседних колоннах. Рядовые и генералы Финской и Великой Отечественной. Воины-интернационалисты. Солдаты и офицеры всех чеченских кампаний...

— Раздайсь! — услышал Буриков глас в поднебесье. — Принять пополнение!

— Get ready (товьсь)! — прозвучала следом команда главаря командос. — Aim (цельсь)!

— Стойте! — крикнул Ракитянский и бросился вперед. — Я проведу вас. Примерно представляю квадрат. Четыре дня — и мы там! Нужный вам человек отдыхает в тайге неделю. Реже — полторы. Вертушка была сегодня.

— Resign! — дал отбой главарь командос. — Не соврал. Твои слова совпадают с нашими данными.

— Одумайся, Толя, — вытерев росяной пот со лба, сказал Буриков. — Не позорь нас. Одумайся, брат... Умоляю — не надо. Не надо!

— Не надо?!! — благим матом заорал Ракитянский. — Я жить хочу!!! Любить хочу!!! Детей!!! Я не хочу умирать!!! Непонятно за кого!!! Меня никто не спрашивал, когда в тайгу ребенком!!! Я не Маугли!!! Я человек!!! Человек, а не подопытный кролик!!!

— Отродье ты, Ракита, а не человек, — спокойно пригвоздил Огрызкин. — Иуда твой апостол. А дерево — осина, а не кедр наш. Чтоб ты, с..., на суку удавился.

— А ты сам-то кто?!! — взревел Ракитянский. — Ты же...

— Верблюд ноне, — сыграл на опережение Огрызкин, набрал слюну из носовых пазух и харкнул в стоявшего поодаль Ракитянского.

Промазал. Сплюнул от досады. Попал на берцы Бурикова. Присел. Вытер слюни перебинтованными пальцами. Выпрямился и... провел растопыренной пятерней по бритой голове, как будто зачесывал волосы назад. Это был условный знак между ним и Ракитянским, который они применяли с детства. Означал «продолжай, подыграю».

— Иуда, значит? — заметив жест Огрызкина, процедил Ракитянский. — Автомат!

Ракитянскому дали, что просил. Но сначала приставили пистолет к его виску и взяли на прицел Бурикова и Огрызкина.

— Ну! — сказал главарь с буквой Z на щеке и с силой вкрутил холодное дуло в висок Ракитянского. — Тронул — ходи, как говорят шахматисты. Смерть товарищей — твой пропуск в жизнь и в наше доверие.

— Стреляй, тварь! — увидев страшное сомнение в глазах Ракитянского, вскричал Огрызкин и опять провел пятерней по голове. — Ненавижу тебя! Власовец! Будь ты прок...

Пуля вмазалась в сердце Огрызкина, как раскопегаренная иномарка мажора в столб. Курсант полетел в яму. Вдогонку за ним с красной звездочкой во лбу пустился Буриков. Якудза и Апач подошли к могиле и прошли лежавших на дне мертвых контрольными очередями...

— Разбить лагерь! — скомандовал своим главарь десантников. — Выступаем утром!.. А ты, — с брезгливостью сказал он Ракитянскому, — похорони бойцов. Для меня и моих людей было большой честью присутствовать при их гибели. Хорошо, что мы не осквернили руки. Кровь воинов не на нас.

...Шатена Ракитянского больше не было. Был пепельный блондин с лицом альбиноса. Он зарывал друзей руками, разминая каждый комок, отбрасывая в сторону корни и редкие камни. Ему предложили саперную лопату, чтобы дело пошло быстрее, но он покачал головой. Настаивать не стали — пусть хоть всю ночь закапывает, если хочет. Закончив работу, Ракитянский обнял могилу, уткнулся лицом в землю и замер до утра. Юноша не спал. Он шептался с мертвыми братьями, как с живыми. Как дома после отбоя, когда они все, удобно расположившись на деревянных кроватях без матрасов и укрывшись пододеяльниками, обсуждали в комнате прожитый день и планы на завтра. Ракитянский не просил прощения за содеянное, потому что погибшие, где бы они сейчас ни находились, знали, почему он пошел на братоубийство...

* * *

Утром парень с польской фамилией повел иностранных солдат в Гиблую Падь, как тот мужик из села Домнина, с оперы о котором вот уже много десятилетий открывает сезоны Большой театр...

Во время пути Ракитянский ловил на себе презрительные взгляды, и его это устраивало — лишь бы не подозревали в обмане. Чтобы окончательно убедить врагов в своей надежности, на второй день он как бы невзначай завел речь о будущей жизни в Венеции, в которую якобы решил перебраться после того, как все закончится. Далее плавно перешел к денежному вопросу, намекнув, что жизнь в граде на воде наверняка стоит недешево. Главарь пообещал крупную сумму в долларах, и Ракитянский немедля согласился, сказав, что в его положении не торгуются. Курсант увидел, как после всех этих венецианских планов и разговора о деньгах пал в глазах недругов ниже некуда. Как человек. Зато значительно подрос как проводник. В нем перестали сомневаться.

На третий день марша, ближе к обеду, Ракитянского чуть не подвел вылезший из кустов огромный бурый медведь. Курсант поднял руку, чтобы шедшие за ним остановились, и отправился к зверю, стоявшему на четвереньках метрах в семи. Парень знал, что повел себя слишком смело для трусливого предателя, но другого выхода для себя не видел. Ракитянский решил, что оправдание своей внезапной отваге он придумает позже. Если выживет.

Курсант замер в метре от медведя и сделал то, что ни в коем случае делать не рекомендовалось: посмотрел хозяину в глаза. Это была игра ва-банк, которую мог себе позволить только уже не дороживший жизнью человек. У Ракитянского не сработал даже инстинкт самосохранения. Пульс не только не участился — он стал успокаиваться, так как юноша остановился после изнурительного марша в темпе, который викинги называли волчьим шагом вестфольдинга.

— Ми-иша-а-а, — баюкающим голосом прошептал Ракитянский, надеясь на то, что родился под звездой, которую Огрызкин называл борзой. — Ми-и-ш, пропусти нас... Заломаешь меня, еще пару-тройку, а остальные тебя того. Это смелые и меткие люди, Миша... Оставшиеся в живых будут рыскать по округе и найдут нужного им человека. Это нельзя, Миш, это нельзя... Дай мне довести их до ума. Всех. Умоляю... Сейчас я заговорю во весь голос. Ты медленно развернешься и победишь. И не вздумай вставать на задние, ты уже на прицеле. Я знаю, ты все сделаешь правильно. Ты послушный медведь... Винни! — весело крикнул Ракитянский и готов был поклясться, что в этот самый момент медведь подмигнул ему. — Ты, ду-маю, иль не ты?! Ах ты, разбойник косолапый! А мы-то думали, куда он делся?! — Ракитянский обернулся к врагам. — Год как ищем, а он вон где! — Поворот к медведю. — А ну вали! Давай, давай! А то получишь под зад! Как от Похабова!

Зверь оскалился, медленно, как танковая башня, развернулся, оглянулся на Ракитянского, словно спрашивая, «точно ли проваливать?», и, услышав «вали, вали!», неуклюже припустил по своим медвежьим делам.

Утром следующего дня Ракитянский достал из вещмешка дневник, который вел много лет, и начал делать записи. Это увидел главарь командос и подошел к пленному.

— Что калякаешь, Кристофер Робин? — прозвучал вопрос.

— Заговор от лешака и кикиморы, — ответил Ракитянский. — Дошел до нас от славян, жителей глухих лесов — дреговичей. Сегодня ночью войдем на территорию темной тайги — в Гиблую Падь. Жуткие болота. Предпочел бы их обойти, но никак. Это самый короткий путь к пункту назначения. Нам не пройти через страшные места без древнего, как сама земля, заговора. Хочу, чтоб твои ребята переписали его и читали. Вслух. Бесперывно.

— А больше ты ничего не хочешь? — ухмыльнулся главарь командос. — Вы точно варвары. Верите во всякую чушь. Одно не могу понять: откуда у таких дикарей может быть такой балет?

— Откуда?.. От мертвого верблюда, который плюнул мне в лицо на расстреле.

— Здесь не на русском, — посмотрев в дневник, сказал главарь. — Буквы те, да не те. Я ничего не понимаю, хотя свободно владею вашим языком.

— Так заговор на старославянском, — объяснил Ракитянский. — Перевод на современный делать нельзя: слова утратят силу. Как закончу текст, напишу транскрипцию. Твои люди должны все переписать и повторять в пути, как мантру. Чтоб я слышал. А иначе...

— Что иначе? — спросил главарь.

— А иначе дальше я не ходок, — поставил условие Ракитянский. — Хоть че со мной делайте. Хоть расстреливайте. Боюсь темной тайги пуще смерти.

— Ты ненормальный. Вы все ненормальные. Crazy!

— Я не услышал ответ.

— Ладно, пиши.

Запись в адаптированном переводе со старославянского на современный русский гласила:

Никогда не приходите в страну гипербореев с оружием. Ее жители не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить врага. Сейчас впереди нас идет человек, который отдал на заклятие родных братьев. Он застрелил их собственной рукой и не жалеет об этом. По его твердому убеждению, иначе было нельзя. Он все рассчитал. В Гиблую Падь войдем нынешней ночью, чтобы уже оттуда не выйти. Страшные топи. Никому из нас не выбраться. Он слышит, как мы произносим эти слова, и одобрительно кивает.

Он не верит в Бога, но каждую секунду повторяет про себя: «Господи, не спаси и не сохрани ни меня, ни их». А ведь мы ему нравимся. Он ничего лично против нас не имеет. Даже считает славными людьми. Его гнев против тех, кто послал наш отряд в тайгу, кто стравливает простых людей из разных стран между собой, прикрываясь национальными интересами. Он слышит, как мы произносим эти слова, и одобрительно кивает.

О, если б мы только пришли, как добрые гости! Нас бы приняли как королей. Нам бы показали самые красивые места в мире. Кормили бы как богов. Любое наше желание становилось бы законом. И тот, кто сейчас ведет нас, счел бы за честь служить нам. Но мы пришли с мечом, и за это умрем. Он слышит, как произносятся эти слова, и одобрительно кивает.

Наш гид многое бы сейчас отдал, чтобы на месте спасаемого им большого человека оказался рядовой гражданин, интересы которого в Гиперборее не учитываются совсем. Но выбирать не приходится. Долг не делит людей на великих и малых. Жизнь за царя-2 так жизнь за царя-2. Поводырь слышит, как мы произносим этим слова, и одобрительно кивает.

Через несколько часов он оставит вещмешок с завернутым в пленку дневником перед входом в Гиблую Падь, и мы не заметим этого. На страницах — заветные мысли о северной стране. Наш проводник знает наверное, что его рукопись будет найдена. Для этого сделано все, что в таких случаях требует Гиперборей. Сакральные жертвы принесены...

В теплую июльскую ночь курсант закрытого таежного города Анатолий Раки-тянский и вражеский десант вошли в Гиблую Падь. Что произошло дальше — автор не знает. Ему известно только то, что известно всем: никаких громких покушений и убийств в 2007 году не было...